# Сабахаттин Али

# Мадонна в меховом манто

Из всех людей, с кем мне довелось до сих пор встречаться, этот человек произвел на меня, пожалуй, самое глубокое впечатление. С тех пор прошло много месяцев, а я все еще не могу забыть испытанное тогда потрясение. Стоит мне остаться наедине с самим собой - и тотчас же перед моим взором встает простодушное задумчивое лицо Раифа-эфенди с робко улыбающимися глазами. Ничего особенного в нем не было. Человек он самый обыкновенный. Один из тех многих сотен ничем не примечательных людей, мимо которых мы каждый день проходим равнодушно. Кажется, в их жизни нет и не может быть ничего такого, что могло бы нас заинтересовать. Сталкиваясь с ними ненароком, невольно задаешь себе вопрос: «И зачем только они живут на свете? Зачем вообще дышат и ходят по земле? Какой смысл могут они находить в своем жалком существовании?»

Но прежде чем так подумать, нам следовало бы попробовать их понять. Нам и в голову не приходит, что у них есть свои особые обстоятельства, которые волей-неволей заставляют их замыкаться в себе, тщательно оберегать от других свой внутренний мир. И если бы мы, вместо того чтобы осуждать этих людей за скрытность, проявили хотя бы ничтожную толику любопытства к их непонятному для нас внутреннему миру, то, вполне возможно, увидели бы такие богатства, о которых даже не подозревали и не догадывались. Но люди в своем большинстве почему-то всегда предпочитают искать только там, где заранее уверены, что найдут. Гораздо легче встретить смельчака, готового ринуться в хорошо знакомую ему пещеру и биться там с драконом, чем человека, который осмелится спуститься в колодец, где неизвестно, что его ожидает. Впрочем, мне и самому удалось по достоинству оценить Раифа-эфенди лишь благодаря случайности.

Лишившись небольшой должности в банке (за что меня уволили - я и сейчас ума не приложу; сказали, что по сокращению штатов, а через неделю на мое место взяли другого), я долго слонялся по Анкаре в поисках работы. На оставшиеся деньги я смог с горем пополам дотянуть до конца лета. Но приближающаяся зима заставляла меня подумать об уплате за койку в отеле, где я жил с товарищем. Безденежье не позволяло мне даже возобновить абонемент на питание в дешевой столовой. Заранее уверенный в отказе, я стучался в одни двери и несолоно хлебавши шел, подавленный, стучаться в другие. Втайне от своих приятелей я попытался устроиться в магазин продавцом, но, получив и там отказ, несколько ночей подряд в полном отчаянии шатался по городу. Даже когда друзья приглашали меня выпить рюмку-другую вместе с ними, я не мог отделаться от своих невеселых мыслей. И, странное дело, чем отчаяннее становилось мое положе-

ние, чем неуверенное я смотрел в завтрашний день, тем нерешительнее я действовал и тем больше росла моя застенчивость. Я стал сторониться даже своих товарищей, которые запросто приглашали меня вместе пообедать и у которых раньше я не стеснялся одалживать деньги. Теперь на их вопрос: «Как дела?» - я уклончиво отвечал с вымученной улыбкой: «Так себе… перебиваюсь на временных заработках!» И тут же норовил улизнуть, дабы избежать лишних расспросов. Чем больше нуждался я в поддержке, тем нелюдимее становился.

Как-то под вечер я медленно брел по пустынной улице, вдыхая полной грудью живительный осенний воздух. Таким воздухом если не насытишься, то, по крайней мере, можно хоть настроение поднять. Заходящее солнце отражалось в стеклах Народного дома и обливало своими кроваво-алыми лучами беломраморное здание. Над кустами акаций и молодыми сосенками висела туча то ли дыма, то ли пыли. На асфальте блестели следы шин. По тротуарам молчаливо двигались, сутулясь, рабочие: вероятно, возвращались домой с какой-то стройки. И все они, казалось, довольны были жизнью. Конечно, надо воспринимать все так, как оно есть. Тем более в моем положении. В этот миг мимо меня пронеслась автомашина. Повернувшись, я успел на ходу разглядеть через стекло знакомое лицо. Проехав с десяток метров, машина остановилась. Мой школьный товарищ- Хамди, открыв дверцу, окликнул меня. Я подошел.

- Куда ты идешь? - спросил Хамди.

- Никуда. Прогуливаюсь.

- В таком случае поедем к нам!

И, не дожидаясь моего согласия, Хамди усадил меня рядом с собой.

Оказалось, он возвращается из командировки: инспектировал фабрики компании, в которой служит.

- О своем возвращении предупредил телеграммой. Так что дома приготовились к встрече. В противном случае я бы не решился пригласить тебя к себе.

Я засмеялся.

Раньше мы с Хамди часто встречались. Но после моего ухода из банка я его ни разу не видел. Хамди служил заместителем директора компании, которая занималась продажей машин и лесоматериалов. Зарабатывал он весьма прилично. Я не обращался к нему за помощью, даже избегал встреч с ним, дабы он не подумал, будто я пришел просить у него работы или денег.

- Ну как, ты по-прежнему в банке? - спросил он.

- Нет, пришлось уйти…

- Куда же?

- Да пока никуда…

Он смерил меня с ног до головы внимательным взглядом, как бы размышляя, стоит ли приглашать меня в дом. Но тут же снисходительно улыбнулся, дружески похлопал меня по плечу:

- Не беда… Поговорим вечерком - что-нибудь придумаем.

Он был явно доволен собой и своим положением. Еще бы! Он мог позволить себе роскошь - помочь приятелю. Его слова зародили во мне некоторую надежду.

Хамди занимал небольшой, уютный домик. Нас встретила его жена - не очень красивая, но весьма приятная женщина. Они расцеловались, не стесняясь моего присутствия. Потом Хамди ушел принимать ванну, оставив меня наедине со своей женой. Он не счел даже нужным представить меня, и я неловко переминался в гостиной с ноги на ногу, не зная, как себя вести. Его супруга стояла у дверей, исподтишка меня разглядывала. Похоже было, что она хотела пригласить меня сесть, но потом решила, что не велика, мол, птица, может и постоять, и не спеша удалилась.

Интересно, почему такие люди, как Хамди, которые никогда не пренебрегают правилами этикета и,более того - именно благодаря тому, что придают им большое значение, достигают высокого положения в обществе и успехов в жизни, могут вот так, небрежно, оставить тебя посреди комнаты? - подумал я. - Может быть, просто по рассеянности, свойственной обычно таким преуспевающим дельцам, как Хамди, в обращении к старым друзьям, особенно к беднякам. Им ничего не стоит сменить «вы» на «ты», неожиданно прервать собеседника и спросить как ни в чем не бывало о чем-либо совсем постороннем и при этом посмотреть еще взглядом, полным сострадания… Мне столько раз за последние дни приходилось с этим сталкиваться, что я даже и не подумал обидеться на Хамди. Мне просто вдруг захотелось потихоньку уйти, чтобы избавиться от этого неловкого положения. Но в это время в гостиную вошла пожилая женщина - видимо, из крестьянок - в белом фартуке, в чепчике, в черных заштопанных чулках и, не говоря ни слова, поставила на небольшой столик поднос с кофе. Мне ничего не оставалось, как расположиться в глубоком кресле, обитом темно-синей тканью с золотыми цветами, и дожидаться хозяев. Я осмотрелся. На стенах висели семейные фотографии и портреты артистов. В углу, на этажерке, стояло несколько книг, дешевые издания - двадцать пять курушей за штуку, - вероятно, мадам иногда почитывала их со скуки, - а сбоку лежали грудой журналы мод. На полке под столиком валялись изрядно потрепанные альбомы. Не зная, чем заняться, я взял один из них. Но не успел его открыть, как в дверях появился

Хамди. Расчесывая одной рукой мокрые волосы, другой он застегивал на ходу пуговицы белой спортивной рубашки.

- Ну рассказывай, как поживаешь!

- Да что там рассказывать - уже и так все сказал, - ответил я.

Хамди, судя по его виду, был рад встрече со мной. Кому не приятно похвастаться успехами перед своим товарищем-неудачником. К тому же, когда видишь, что беды обрушиваются на твоих знакомых, невольно испытываешь облегчение при мысли, что они миновали тебя самого. И тут, естественно, проникаешься к этим бедолагам жалостью. Подобные чувства, очевидно, испытывал и Хамди.

- А как с сочинительством? Пописываешь?

- Иногда… Стихи, рассказы…

- Ну, и что толку от этого?

Я улыбнулся, заранее зная все, что мне придется от него выслушать.

Пожурив меня за непрактичность, Хамди назидательно посоветовал бросить такое никчемное дело, как литература, ею можно баловаться только в школе, в зрелом же возрасте это занятие не только бесполезное, но и вредное. Он отчитывал меня, как маленького ребенка, тоном, не допускающим никаких возражений, не стараясь даже скрывать испытываемое им чувство превосходства. Я слушал его, не перебивая, с глупой, как сам чувствовал, улыбкой на лице, словно бы восхищаясь им, и это придавало ему еще больше смелости.

- Ладно, - заключил он наконец, - заходи ко мне завтра. Что-нибудь придумаем. Я знаю - ты парень толковый. В школе, правда, ты был лентяем, но это неважно. Жизнь да нужда кого хочешь научат прилежанию. Заходи ко мне завтра пораньше!

Хамди, видимо, запамятовал, что не я, а он считался в школе самым отпетым бездельником. А может быть, и помнил, но был уверен, что я все равно ему об этом не решусь сказать.

Он приподнялся, показывая, что мне пора уже уходить. Я тотчас же встал и сказал, протягивая ему руку:

- Спасибо за гостеприимство.

- Ты уже уходишь? Посидел бы - ведь еще рано.,0 Впрочем, тебе виднее…

За разговором я и забыл, что он приглашал меня отужинать, теперь вспомнил, да, наверное, уже поздно. Сам Хамди, похоже, не намерен был повторять свое приглашение. Он проводил меня до дверей.

- Мое почтение ханым-эфенди (*Ханым-эфенди - госпожа*), - сказал я, надевая шляпу.

- Ладно, ладно... Так не забудь - завтра, как договорились... Ну, не огорчайся!.. - И он похлопал меня по спине.

Когда я вышел, на улице было уже совсем темно. Горели фонари. Я глубоко вдохнул хотя и пыльный, но, как мне показалось, удивительно бодрящий и свежий воздух и медленно побрел домой.

***

На следующий день я направился в контору Хамди. Я долго колебался, прежде чем пойти к нему. Ведь ничего определенного он мне не обещал. Слова: «Приходи, придумаем что-нибудь» - ни к чему не обязывали. Подобных снисходительных обещаний я наслышался уже достаточно. И все-таки я решил сходить к Хамди. Думаю, что мной при этом руководила не только робкая надежда получить работу, но и странное желание испить чашу унижения до дна. «Уж если ты вчера терпеливо выслушивал его наставления, позволил ему играть роль покровителя, то, видно, такова твоя участь, изволь влачить свой жалкий жребий до конца!» - решил я про себя.

Меня попросили подождать в небольшой приемной. Входя после недолгого ожидания в кабинет Хамди, я почувствовал, что по моему лицу снова расползается та же дурацкая улыбка, что и накануне, - и во мне вскипела злость на самого себя.

Хамди перебирал деловые бумаги, одновременно разговаривая с входившими и выходившими служащими. Он кивком головы указал мне на стул и продолжал заниматься своими делами. Не решившись протянуть ему руку, я молча присел. Теперь я и впрямь выглядел жалким просителем, заслуживающим и соответствующего обращения. Вчера, когда он пригласил меня к себе в машину, он был просто моим школьным товарищем, но за какие-то двенадцать часов между нами разверзлась непреодолимая пропасть. Как часто отношения между людьми строятся на искусственной, нелепой, смешной, а главное, далекой от подлинной человечности основе!

Со вчерашнего вечера ни Хамди, ни я ничуть не изменились. И все-таки некоторые подробности, которые я узнал о нем, а он обо мне, совсем, казалось бы, незначительные детали, развели нас в разные стороны. И самое странное то, что эту перемену мы оба воспринимали как нечто естественное, само собой разумеющееся. Я был возмущен не Хамди и даже не самим собой, а тем, что нахожусь здесь.

Наконец мы остались одни в кабинете. Только тогда Хамди удостоил меня внимания.

- Я нашел тебе работу! - объявил он, оторвавшись на минуту от бумаг. И, многозначительно подмигнув, добавил: - Придумал для тебя специальную должность. Работа - не бей лежачего. Будешь следить за прохождением бумаг в других банках, и особенно - в нашем собственном. На тебя возлагается осуществление связи между нашей компанией и банками. Ну, а в свободное время сиди поплевывай в потолок. Хочешь - можешь даже писать стихи. С управляющим я уже договорился. Твое назначение быстро оформим. На первых порах положим лир сорок - пятьдесят. Потом прибавим, конечно. Так что принимайся за дело. Желаю успеха! Не поднимаясь с кресла, он протянул мне руку. Я поспешно пожал ее, пролепетал какие-то слова благодарности. Он явно был доволен. По натуре своей человек он, вероятно, неплохой. К тому же, надо полагать, поступил в интересах дела. Однако, выйдя в коридор, я некоторое время стоял в нерешительности: то ли идти садиться за отведенный мне стол, то ли сбежать. Понурив голову, я спросил у первого попавшегося мне навстречу служащего, где комната переводчика Раифа-эфенди. Тот показал рукой в какомто неопределенном направлении и побежал дальше. Я снова остановился. Почему я не решаюсь уйти? Боюсь потерять сорок лир в месяц? Или не хочу обидеть Хамди? Нет! Скорее всего, меня удерживает страх. Ведь я уже несколько месяцев хожу безработным. И сколько еще прохожу - неизвестно. Уйти, конечно, можно, но куда? В какую дверь постучаться? У меня не было ни сил, ни решительности начинать все заново. В конце концов мои поиски увенчались успехом. Раиф-эфенди сидел, склонившись над бумагами. Я сразу догадался, что это он, вспомнив слова Хамди: «Мы тебе поставили стол в комнате Раифа-эфенди. Он человек незлой, тише воды, ниже травы». И то, что Хамди назвал его старомодно «эфенди», а не «бей», как других, тоже показалось мне примечательным. Именно таким я и представлял его: щуплым, седым, небритым, в очках.

- Вы Раиф-эфенди? - спросил я.

Он поднял на меня глаза. Потом робким, я бы даже сказал, испуганным голосом произнес:

- Да, я! А вы, наверно, наш новый сотрудник. Для вас уже приготовили стол. Добро пожаловать!

Я сел за стол, испещренный чернильными пятнами и беспорядочно начерченными линиями, и начал исподтишка разглядывать своего сослуживца, чтобы составить первое - пусть ложное - впечатление о человеке, с которым мне придется сидеть в одной комнате. Но он, казалось, даже не замечал моего присутствия, сидел, углубившись в дела.

Так мы просидели до полудня. Я не сводил глаз со своего нового коллеги. Он уже начинал лысеть. Сквозь коротко остриженные редкие волосы просвечивала бледная кожа. Под небольшими ушами обозначились глубокие морщины. Раиф-эфенди непрестанно водил по бумаге пером, зажав ручку в длинных тонких пальцах. Он переводил какой-то текст. Иногда, не находя, наверное, нужного слова, он поднимал глаза и, поймав мой взгляд, смущенно улыбался. Улыбка, озарявшая в такие мгновения его лицо, была удивительно простодушной. Рыжеватые подстриженные усы только усиливали это впечатление.

Когда наступил обеденный перерыв, Раиф-эфенди выдвинул ящик стола, достал оттуда кусок хлеба и судки и расстелил перед собой лист бумаги. Я пожелал ему приятного аппетита и удалился.

Мы просидели друг против друга много дней, но разговор у нас не клеился. Ни он, ни я так и не решались заговорить. Со многими другими сослуживцами я уже успел сойтись, после работы мы вместе заходили посидеть в кофейне, поиграть в нарды. От них я и узнал кое-что о Раифе-эфенди. Он был одним из самых старых служащих конторы. Еще до образования компании он работал переводчиком в одном из связанных теперь с нею банков. Когда и откуда он туда пришел, никто вообще не помнил. На его шее - большая семья, а жалованья еле хватает, чтобы сводить концы с концами. На мой вопрос, почему столь богатая компания не повысит оклад своему старому работнику, сослуживцы ответили мне с улыбкой:

- На дураках воду возят! Надо еще проверить, знает ли он как следует язык.

Но мне потом не раз представлялась возможность убедиться, что немецкий язык он знает безукоризненно и переводы делает прекрасные как по стилю, так и по точности. Он мог, например, быстро перевести с немецкого письмо об отправке транзитом через югославский порт партии пиломатериалов из ясеня или кедра, либо инструкцию об эксплуатации специального станочка для просверливания шпал, либо сложнейший договор, который управляющий тут же подписывал и отправлял адресату.

Когда не было работы, Раиф-эфенди выдвигал обычно ящик стола, где у него лежала книга, и углублялся в чтение. Однажды я имел неосторожность спросить:

- Что вы читаете, Раиф-бей?

Он покраснел, будто его застали за каким-то предосудительным занятием, и, заикаясь, промямлил:

- Да так… немецкий роман…

И, задвинув ящик стола, тотчас же принялся перебирать свои бумаги.

Тем не менее во всей конторе ни один служащий и мысли не допускал, что он и в самом деле знает иностранный язык..Никто никогда не слышал, чтобы он ввернул в свою речь иностранное словцо или упомянул о своих знаниях. Точно так же никто никогда-не видел у него в руках или в кармане какую-нибудь иностранную газету или журнал. Раиф-эфенди ничуть не походил на тех пижонов, которые всем своим видом заявляют: «Я знаю иностранный язык! Я был за границей!»

Скорее всего, именно оттого, что он не добивался повышения жалованья и не искал себе более доходного места, кое-кто и сомневался в его познаниях.

На работу он приходил всегда без опоздания, в полдень обедал в нашей комнате, а вечером, сделав кое-какие мелкие покупки, сразу же направлялся домой. Несколько раз я пробовал позвать его в кофейню, но он отказывался:

- Не могу, дома ждут.

Наверное, решил я, счастливый отец семейства спешит облобызать своих деток. Позже я убедился, что это не так, но об этом речь впереди. Добросовестность и трудолюбие Раифа-эфенди не ограждали, однако, его от неприятностей по работе. Стоило только Хамди найти самую ничтожную ошибку в его переводе, как он немедленно вызывал беднягу для нахлобучки, а иногда и сам врывался к нам в комнату, только чтобы отругать его чуть ли не последними словами. Впрочем, нетрудно понять, почему мой школьный товарищ, который всегда был вежлив в обращении с другими служащими, даже с юнцами, наверняка имевшими покровителей, не очень-то стеснялся в выражениях, громко отчитывая Раифа-эфенди за малейшую задержку перевода. Нет чувства более сильного, чем упоение собственной властью над другими людьми. Надо только знать, перед кем и в каких конкретно случаях эту власть можно показывать.

Время от времени Раиф-эфенди заболевал. Тогда он не выходил на работу. Чаще всего это была обыкновенная простуда. Несколько лет назад, по его словам, он перенес сильный плеврит и с тех пор очень берег свое здоровье. Стоило ему подхватить легкий насморк - и он уже не решался выйти на улицу. А если и решался, то напяливал на себя теплое шерстяное белье. В такие дни он не позволял даже открывать форточку. А после окончания работы заматывался шарфом до самых ушей, надевал старенькое, но из добротного толстого сукна пальто, поднимал воротник и только после этого выходил на улицу. Но, даже больной, он не уклонялся от работы. Все срочные переводы отправляли ему на дом с по-

сыльным. Посыльный же приносил их обратно. Директор компании и Хамди своим отношением как бы говорили Раифу-эфенди: «Хоть ты и больной, мы все-таки тебя не прогоняем». Не довольствуясь намеками, они не стеснялись заявлять об этом прямо в лицо ему и, когда он появлялся после нескольких дней отсутствия, всегда с ехидством спрашивали:

- Ну, как себя чувствуешь? Поправился наконец? Говоря откровенно, Раиф-эфенди меня тоже начал

раздражать. Сидел я в кабинете, правда, не так часто. С самого утра мотался с набитой бумагами папкой по банкам и государственным учреждениям, нашим заказчикам, и забегал к себе только для того, чтобы написать отчет для директора или его заместителя. Но даже в эти редкие часы мне тягостно было видеть перед собой неподвижную, словно окаменевшую фигуру Раифа-эфенди, занятого переводом либо чтением немецкого романа, который он не решался вытащить из ящика стола. «Какой же это зануда и тупица, - думал я. - Тот, кому есть что сказать, не станет сопротивляться желанию излить свою душу. Как можно быть таким молчаливым и безучастным ко всему, что происходит вокруг? Подобную жизнь может вести растение, но не живой человек! Утром, в определенный час приходит на работу, что-то переводит, украдкой читает свой роман, вечером делает покупки и возвращается домой. Единственное разнообразие в этот монотонный поток дней и даже лет вносят болезни». По рассказам сослуживцев, таким он был всегда. Никто никогда не видел, чтобы он хоть раз вышел из себя, вспылил или обрадовался. Какими бы несправедливыми упреками или обвинениями ни осыпало его начальство, он выслушивал все с почтительно-безучастным видом. Отдавая машинисткам свои переводы и забирая их после перепечатки, он улыбался пустой, ничего не выражающей улыбкой.

Как-то раз, не дождавшись перевода, - машинистки всегда печатали Раифу-эфенди в последнюю очередь, - в кабинет вошел Хамди и сразу же набросился на моего соседа:

- Сколько еще прикажете ждать? Я ведь вам сказал, что дело срочное. А вы до сих пор не изволили перевести письмо от венгерской фирмы!

- Я перевел, - вскочив со стула, промямлил Раиф-эфенди. - Машинистки задерживают. Они говорят, что им дали другую срочную работу.

- Я вас предупредил, что это самая срочная работа?

- Да, предупредили. И я им это сказал...

- Сказал, сказал! - перебил его Хамди. - Вместо' того чтобы оправдываться, лучше бы выполнили мое указание. - И, хлопнув

громко дверью, Хамди направился к себе.

Раиф-эфенди поспешил в машинописное бюро: умолять машинисток, чтобы они поторопились.

Во время всей этой постыдной сцены Хамди не удостоил меня даже взглядом. Вернувшийся вскоре Раиф-эфенди сел за свой стол и вновь склонился над бумагой. Лицо его было так непроницаемо-спокойно, что в моей душе закипело невольное раздражение. Раиф-эфенди взял лежавший перед ним карандаш и начал им водить по бумаге. Я заметил, что он не пишет, а рисует, и в движениях его отнюдь нет порывистости, свойственной нервным людям. Мне даже почудилось, что в углах его рта, под рыжеватыми усиками, играет улыбка уверенного в себе человека. Он энергично водил карандашом по бумаге, время от времени прищуривался, и тогда по его улыбке я видел, что он доволен собой. Наконец, отложив карандаш в сторону, он взял исчерканный лист в руку и полюбовался своим творением. Я не отрывал глаз от Раифа-эфенди, пораженный необычным выражением его лица. Казалось, он испытывает к кому-то бесконечную жалость. Я ерзал на стуле, еле сдерживая любопытство. Внезапно он поднялся и снова побежал в машинописное бюро. Одним прыжком я очутился у его стола и схватил изрисованный листок. Взглянул - и остолбенел. На небольшом, величиной с ладонь клочке бумаги был изображен Хамди. Всего лишь несколько штрихов, сделанных уверенной рукой мастера, с необыкновенной точностью передавали всю его суть. Впрочем, вполне допускаю, что другие, возможно, и не нашли бы разительного сходства. Более того, при тщательном рассмотрении можно было вообще усомниться, Хамди ли это. Но тот, кто видел его в ту минуту, когда он оглашал кабинет яростными криками, наверняка не ошибся бы. Искаженный животной злобой, почти квадратный, широко открытый рот, точечные, острые, как буравчики, глаза, мясистый крупный нос с большими раздутыми крыльями ноздрей - все это придавало его лицу особенно свирепый вид... Да, это был Хамди, точнее, его духовная сущность. Однако больше всего меня поразило другое: сколько месяцев я работаю в компании, а до сих пор не раскусил Хамди. Иногда я бывал снисходителен к его слабостям, но чаще презирал его. Составленное мною о нем представление и сегодняшний случай никак не вязались друг с другом. Я был поставлен в тупик. А вот Раиф-эфенди несколькими штрихами сумел показать истинный облик Хамди, который я, как ни старался, не смог разглядеть за столь продолжительное время. Его лицо было отмечено какой-то первобытной дикостью и одновременно вызывало почему-то жалость. С особой рельефностью в этом шарже выступало странное сочетание надменности и убожества. Мне подумалось,

что я впервые за десять лет узнал по-настоящему школьного товарища.

Этот рисунок заставил меня по-новому взглянуть и на самого Раифа-эфенди. Теперь я лучше стал понимать, чем объясняется его непоколебимое спокойствие, его застенчивость и даже какая-то боязнь людей. Может ли человек, видящий окружающих насквозь, с таким необыкновенным проникновением, волноваться но пустякам и сердиться на других? Сталкиваясь с полным ничтожеством, он вынужден сохранять камен-но-невозмутимый вид. Ведь мы огорчаемся, обижаемся, негодуем, только встречаясь с неожиданностью. Но ничто не может вывести из равновесия человека, который ко всему заранее готов и хорошо знает, чего ему ожидать от других.

Раиф-эфенди снова возбудил мое любопытство. То, что раньше представлялось мне в нем бесспорно ясным, теперь вызывало сомнения. Мастерство рисунка не допускало и мысли о любительстве. Такой шарж способен был нарисовать лишь человек с большим опытом, обладающий не только наблюдательностью, но и умением тонко передавать увиденное.

Отворилась дверь, и в комнату вошел Раиф-эфенди с отпечатанным текстом перевода в руках.

Захваченный врасплох, я проговорил извиняющимся тоном:

- Великолепный рисунок!

Я полагал, что Раиф-эфенди смутится или даже испугается, опасаясь разглашения его тайны. Однако ничего подобного не случилось. Он взял у меня рисунок и как ни в чем не бывало со своей обычной отчужденно-задумчивой улыбкой произнес:

- Когда-то, много лет назад, я занимался рисованием. По старой привычке и сейчас иногда - от нечего делать - мараю бумагу. Сами видите - рисую ерунду всякую.

Он смял листок и бросил его в корзину.

- Машинистки срочно отпечатали, - пробормотал он. - Наверняка есть опечатки, но все равно читать не буду, а то Хамди-бей еще больше разъярится. И будет прав. Отнесу-ка ему побыстрее.

Проводив Раифа-эфенди глазами до дверей, я задумчиво повторил несколько раз: «И будет прав. Будет прав. Будет прав!»

После этого случая я стал внимательно наблюдать за каждым шагом, за каждым незначительным движением Раифа-эфенди. Я не упускал ни одной возможности лишний раз поговорить с ним, узнать о нем что-нибудь новое. Он же как будто не замечал моего любопытства. Был любезен, но по-прежнему держался несколько отчужденно. Между нами устанавливались все более дружеские отношения, но его душа оставалась для меня закрытой. После того как я познакомился поближе с его семьей, узнал его самого в

роли семьянина, мой интерес к нему еще более возрос. Но каждый мой шаг к сближению ставил передо мной все новые и новые загадки.

Для первого посещения дома Раифа-эфенди я воспользовался очередной его болезнью. Узнав, что Хамди намеревается направить ему с посыльным какой-то срочный документ для перевода, я предложил свои услуги.

- Давай я сам отнесу, заодно и проведаю больного!

- Что ж, не возражаю... Узнай, как он там. Что-то болезнь на этот раз затянулась.

И в самом деле, Раиф-эфенди не появлялся на службе целую неделю. У посыльного я выяснил, что живет Раиф-эфенди где-то в районе Исметпаша. Была середина зимы. Уже начало темнеть, когда я отправился в путь. Я брел по узким анкарским улочкам с разбитыми мостовыми. Подъемы сменялись крутыми спусками. Наконец на самом краю города я свернул в последний переулок Налево. Там, зайдя в небольшую кофейню, я уточнил, где живет Раиф-эфенди. Мне указали на двухэтажный желтый домик, одиноко стоящий среди строительных площадок, заваленных грудами камней и песка. Я знал, что Раиф-эфенди занимает нижний этаж. Я позвонил. Мне открыла девочка лет двенадцати. Узнав, что я хочу видеть отца, она скорчила гримасу и, надув губы, сказала:

- Пожалуйста, проходите!..

Обстановка дома оказалась совсем не такой, какую я себе представлял. Посреди гостиной, которая использовалась, очевидно, и как столовая, стоял раздвижной стол, в углу - массивный застекленный буфет, наполненный хрустальной посудой. Пол был устлан сивас-ским (*Сивас - город в Турции, славящийся ковровым производством*) ковром. Из кухни, через открытую дверь, доносились вкусные запахи. Девочка провела меня в гостиную. Все вещи здесь были красивыми и, надо полагать, довольно дорогими. Мягкие кресла с обивкой из красного бархата, низенькие кофейные столики из орехового дерева, огромная, чуть не в полкомнаты, радиола. Везде, на столиках и на спинках диванов, лежали кремовые, тончайшей работы, кружевные салфетки и накидки. На стенах висели семейные фотографии и дощечка с выведенным на ней изречением из Корана.

Через несколько минут девочка предложила мне кофе. На ее лице играла снисходительная насмешливая улыбка, означавшая, очевидно, что она никак не хочет принимать меня всерьез.

- Отцу нездоровится, эфенди. Он не встает с постели. Зайдите к нему, - сказала она, принимая из моих рук пустую чашечку. При этом она изогнула брови, как бы давая мне понять, что я отнюдь

не достоин оказываемого мне почета. Войдя в комнату, где лежал Раиф-эфенди, я поразился еще больше. Обстановка здесь резко отличалась от той, что я видел в других комнатах. Сама комната с несколькими белыми кроватями напоминала больничную палату или общежитие. На одной из кроватей я увидел Раифа-эфенди, укутанного белым покрывалом. При моем появлении он попытался улыбнуться, глаза его приветливо блеснули за стеклами очков. Я поискал глазами на что бы сесть. В комнате стояло всего два стула, на которых в беспорядке валялись женские чулки, кофточки, шелковые платья. Через полуоткрытую дверцу дешевого платяного шкафа, выкрашенного в какой-то серо-буро-малиновый цвет, на вешалках можно было разглядеть платья, жакеты, а под ними большие узлы. Во всей комнате царил ужасающий хаос. На комоде возле кровати я увидел металлический поднос и на нем - оставшуюся, очевидно, после обеда грязную глубокую тарелку, графин без пробки, а рядом - пузырьки и тюбики с лекарствами.

- Присаживайтесь, дорогой, вот сюда, - показал он на кровать.

Я присел. Раиф-эфенди был одет в пеструю, рваную на локтях, женскую шерстяную кофту. Он полулежал, упираясь головой в белые железные прутья. На спинке кровати позади меня тоже была навалена всякая одежда.

- Я тут сплю вместе с детьми. Потому и такой кавардак, - сказал . он, перехватив мой взгляд. - Дом, как видите, не велик. Еле размещаемся…

- А семья у вас большая?

- Народу хватает! Взрослая дочь, лицеистка.

И еще одна, которую вы видели. Свояченица с мужем. У них тоже двое детей. Да еще два деверя, братья жены. Живем все вместе. Сами знаете, в Анкаре с жильем туго. Вот мы и не можем разъехаться.

Раздался звонок, послышался шум, громкие голоса. Очевидно, пришел кто-то из домочадцев. Немного погодя отворилась дверь, и в комнату вошла полная женщина лет сорока, с челкой на лбу. Склонившись над Раифом-эфенди, она шепнула ему что-то на ухо. Он, ничего ей не ответив, показал рукой на меня:

- Это мой сослуживец… и Помолчав, он добавил, обращаясь к жене:

- Возьми в кармане пиджака!

- Господи! - воскликнула она, считая, очевидно, излишним продолжать переговоры шепотом. - Да я же не за деньгами пришла. Кто сходит в магазин? Ты ведь не встанешь!..

- Пошли Нуртен! Магазин же близко, в трех шагах.

- Поздно уже, ночь, холод собачий. Я просто боюсь посылать ее на улицу. Да и послушается ли она меня?

Раиф-эфенди немного поразмыслил, затем кивнул головой с таким видом, будто нашел наконец единственно возможное решение:

- Ничего, ничего, сходит, - сказал он, не глядя на жену.

- Вот так-то мы и живем! - обратился он ко мне, когда мы остались наедине. - Хлеба купить - и то проблема. Стоит мне заболеть - в магазин послать некого.

- А братья жены - они маленькие, что ли? - набравшись храбрости, спросил я его в упор.

Он молча посмотрел на меня. Казалось, он даже не слышал моего вопроса, но через несколько минут все же ответил:

- Нет, конечно, не маленькие! Оба работают. Как и мь! - чиновники. Свояк устроил их в министерство экономики. С трудом, конечно. Ведь оба без образования даже, за среднюю школу аттестата нет!..

И тут же поспешил сменить тему разговора:

- Вы что-нибудь принесли мне для перевода?

- Да... К завтрашнему дню велено сделать. Утром посыльный зайдет...

Он молча взял бумаги и отложил их в сторону.

- Мне хотелось узнать, как вы себя чувствуете.

- Спасибо. Что-то я расхворался. Никак не могу встать на ноги!

Он испытующе взглянул на меня, как бы стараясь понять, в самом ли деле я беспокоюсь о его здоровье или спрашиваю только так, приличия ради. Мне очень хотелось, чтобы он поверил в мое доброе к нему отношение. Но тут в его оживившихся глазах снова появилась пустая, ничего не выражающая улыбка.

Я поднялся с грустным вздохом.

Неожиданно, выпрямившись, он пожал мне руку.

- Большое спасибо, сынок, за внимание, - произнес он потеплевшим голосом. И мне стало ясно, что он угадал мои мысли.

***

После этого дня мы с Раифом-эфенди несколько сблизились. Не сказал бы, что он резко изменил свое отношение ко мне. Тем более не посмел бы я утверждать, что он стал со мной вполне искренним, открыл мне свою душу. Он остался таким же, как и был, - замкнутым и молчаливым. Иногда я провожал его после работы, случалось, что и заходил к нему в дом, иногда он угощал меня чашечкой кофе в красной гостиной. В большинстве случаев мы молчали либо говорили о всяких пустяках: о погоде, о дороговизне жизни в Анкаре, об ужасных тротуарах в квартале Исмет-

паша. Редко-редко мы касались его домашних дел. Лишь изредка у него срывалось с уст что-нибудь вроде: «Дочь опять получила плохую отметку по математике!» Но тут же он менял тему разговора. Я старался не задавать лишних вопросов. Определенное мнение о его домочадцах - прямо скажу, не очень благоприятное - у меня сложилось еще после первого посещения их дома.

Уходя от Раифа-эфенди, я увидел в гостиной за большим столом двух здоровенных парней и девушку лет шестнадцати, которые пошептались и, переглянувшись, закатились смехом, не дожидаясь даже моего ухода. Вроде бы я не давал им никакого повода для насмешек. Есть же такие пустоголовые молодые люди, которые самоутверждаются, осмеивая других людей. И маленькая Нуртен старалась не отставать от своих дядей и старшей сестры. Бывая потом неоднократно в их доме, я еще больше укрепился в своем мнении. Я ведь и сам не старик, мне нет еще и двадцати пяти, но меня глубоко возмущает манера иных сопляков высокомерно таращиться на незнакомых людей. Я чувствовал,. что и Раифу-эфенди не нравится его домашнее окружение. В своем собственном доме он был лишним, никому не нужным человеком.

Впоследствии я узнал этих ребят поближе, даже подружился с ними и убедился, что люди они совсем не плохие, только пустые, страшно пустые. Этим и объяснялась нелепость их поступков. Они как бы пытались заполнить свою внутреннюю пустоту. Получали удовольствие от зубоскальства и насмешек над кем-то, тем самым обращая на себя внимание. Прислушиваясь к их разговорам, я все сильнее убеждался в этом. У них не было, казалось, другого занятия, как обсуждать, например, сослуживцев Ведада и Джихада, мелких чиновников в министерстве экономики, или школьных подружек Неджлы, старшей дочери Раифа-эфенди. Они перемывали своим знакомым косточки, смеялись над их одеждой, над всевозможными недостатками, которые, кстати говоря, они замечали только у других.

- Ох, какой туалет был у Муалли на свадьбе! Увидели бы - упали. Ха-ха-ха!

- Здорово та девица отшила нашего Орхана! Вы бы только посмотрели! Ха-ха-ха!

И так без конца.

У сестры жены Раифа-эфенди, Ферхунде-ханым, было двое детей, трех и четырех лет. Когда свояченице удавалось подбросить их старшей сестре, она быстрехонько наряжалась в шелковое платье, подкрашивала губы, подводила брови и отправлялась гулять. Я видел ее всего лишь несколько раз, и всякий раз она стояла перед зеркалом, поправляя завитые крашеные волосы или примеряя кружевную шляпку. Ей было не больше тридцати, но

от глаз уже разбегались гусиные лапки, на щеках пролегли морщинки. В голубых глазках-бусинках таилась неизбывная скука. Дети казались ей сущей напастью, ниспосланной злой силой. Ходили они всегда с чумазыми лицами и грязными руками. Неудивительно, что Ферхунде-ханым, выходя с ними на улицу, больше всего боялась, как бы они - упаси бог - не прикоснулись к ее платью.

Муж Ферхунде-ханым, Нуреддин-бей, работал начальником отдела в министерстве экономики. Во многом он смахивал на Хамди. Это был мужчина лет тридцати - тридцати двух, с тщательно уложенными светло-каштановыми волосами. Даже самый банальный вопрос: «Как поживаете?» - он произносил весьма глубокомысленно. В его глазах, когда он смотрел на собеседника, можно было легко прочесть иронию и презрение. Ну что, мол, с тобой говорить? Ничего-то, братец, ты не знаешь и не понимаешь!..

После окончания школы он был послан для продолжения образования в Италию. Там он поднаторел в итальянском и научился напускать на себя важный вид. У него было одно чрезвычайно нужное для преуспеяния качество: он умел преподносить себя в выгодном свете, завоевывать полное доверие высокого начальства. И еще он умел высказывать свое мнение по любому вопросу, даже если ничего в нем не смыслил. Думаю, что домочадцы переняли именно у него высокомерно-презрительное отношение к людям. Нуреддин-бей тщательно следил за собой; всегда был чисто выбрит, щеголял в хорошо отутюженных брюках. По субботам обходил все лавчонки, переворачивал все товары, чтобы выбрать самые модные ботинки или купить пару носков какой-нибудь немыслимой расцветки. Жалованья его, как я потом узнал, едва хватало на одежду для него самого и его супруги, а двое братьев жены получали по тридцать пять лир, этого, разумеется, не хватало, - и, естественно, все расходы по дому должен был нести Раиф-эфенди. Несмотря на это никто в доме не считался с бедным стариком. Каждый, кроме самого Раифа-эфенди, дул в свою дуду.

Жена Раифа-эфенди, Михрие-ханым, хотя ей не было еще и сорока, выглядела старухой. Это была толстая, обрюзгшая, с обвисшими грудями женщина. Целыми днями она возилась на кухне, а в немногие свободные часы штопала чулки или воевала с озорными племянниками. И все равно не могла всем угодить. Никто не хотел и знать, как ведется домашнее хозяйство, каждый считал себя достойным гораздо лучшей доли и, недовольно морща нос, отворачивался от подаваемых ему блюд.

- Ну что это за еда? - возмущался Нуреддин-бей, как бы желая сказать: «И куда только уходят сотни лир, которые я вам даю...»

От него не отставали и оба шурина, которые могли спокойно выбросить семь лир на шикарный шарф. То один, то другой принимался капризничать:

- Не буду это есть.

- Приготовьте мне яичницу!

- Я не наелся! Дайте мне колбасы.

И бедной Михрие-ханым приходилось вставать из-за стола и тащиться на кухню. Но если требовалось раскошелиться, чтобы купить хлеба на ужин, они не стеснялись разбудить больного Раифа-эфенди. Мало того - они открыто выражали недовольство тем, что он так долго болеет и не ходит сам в булочную…

Хотя во всем доме царил ужасающий беспорядок, в холле и в гостиной усилиями Неджлы поддерживалась относительная чистота. В этом она находила поддержку всех домочадцев, которые рады были пустить пыль в глаза знакомым. Ради этого они готовы были даже идти на жертвы и терпеть лишения. Несколько лет они расплачивались за купленную в рассрочку мебель. Зато теперь гости восхищенно покачивали головами, любуясь шикарными креслами, обитыми красным бархатом, и двенадцатиламповая радиола оглушала весь квартал громовой музыкой. А хрустальные рюмки и бокалы с позолотой, сверкавшие за стеклами буфета, также помогали поднять престиж Нуреддин-бея в глазах приятелей и сослуживцев, которых он частенько приводил в дом, чтобы угостить ракы…

Несмотря на то, что вся тяжесть расходов лежала на плечах Раифа-эфенди, все в доме - и взрослые и дети - смотрели на него как на пустое место и ни о чем с ним не говорили, кроме как о деньгах и текущих расходах. Да и хозяйственные дела предпочитали решать не прямо с ним, а через Михрие-ханым. Он для них был просто роботом, который, получив заказы, рано утром уходил, а вечером возвращался, нагруженный покупками. Пять лет тому назад, добиваясь руки Ферхунде-ханым, Нуреддин-бей всячески старался угодить Раифу-эфенди, ни разу не являлся в дом без подарка для будущего свояка. Но теперь и он словно тяготился тем, что ему приходится жить под одной крышей с таким скучным человеком. Все почему-то считали себя вправе сердиться на Раифа-эфенди за то, что он мало зарабатывает и не может обеспечить им богатую жизнь, и в то же время уверены были, что он человек ничтожный и никчемный. Даже не лишенная ума Неджла и маленькая Нуртен, которая ходила в начальную школу, и те не могли не поддаться общему настроению. В их мимолетных проявлениях любви к отцу чувствовалась какая-то натянутость и принужденность. И заботились они о нем с той фальшивой добротой, с какой подают милостыню нищему.

Лишь Михрие-ханым, отупевшая за долгие годы от бесконечных домашних дел и забот, находила возможность уделять внимание супругу. Она старалась все же поддержать авторитет мужа, всячески оберегала его от оскорблений. Когда в доме бывали гости, Нуреддин-бей или шурины кричали: «Пусть тесть сам сходит в магазин!» Чтобы оградить мужа от унижений, Михрие-ханым незаметно проскальзывала в спальню и ласково просила его: «Сходи к бакалейщику, купи десяток яиц и бутылку ракы. Сам понимаешь: гости, им неудобно вставать из-за стола». Она никогда не задумывалась, почему ее с мужем не приглашают к столу, а если в кои-то веки и приглашали, то смотрели на них с беспокойством, словно опасаясь, как бы они не совершили бестактность.

Раиф-эфенди питал к жене странное чувство сострадания. Ему, видимо, и впрямь было очень жаль несчастную женщину, которая целыми месяцами не снимала кухонного халата.

Иногда он усаживался напротив нее и участливо осведомлялся:

- Ну как, женушка, небось устала сегодня?

Они говорили о детях, об их учебе или о том, где достать денег на приближающиеся праздники.

По отношению же к другим членам семьи он не проявлял ни малейшей привязанности. Временами, правда, он задерживал взгляд на старшей дочери, словно желая услышать от нее хоть одно ласковое слово. Но тотчас же отводил глаза. Глупые ее ужимки, неуместные смешки, очевидно, убеждали его лишний раз в глубине разделявшей их пропасти.

Я много думал о положении Раифа-эфенди в семье. Такой человек - а я был уверен, что он гораздо глубже, чем кажется, - не станет беспричинно чуждаться самых близких ему людей. Беда, по-видимому, в том, что никто его не понимает, а он не из тех, кто старается быть понятым. Поэтому невозможно разбить лед и устранить ужасную отчужденность, разделяющую членов этой семьи. Люди с трудом понимают друг друга и, вместо того чтобы попробовать преодолеть непонимание, предпочитают бродить, как слепые, и, только натыкаясь друг на друга, узнают о существовании других.

Как я уже говорил, Раиф-эфенди питал некоторую слабость лишь к Неджле. Во всех своих жестах и гримасах девочка подражала размалеванной тетке, духовное же содержание она заимствовала у ее мужа. Но отец все еще чего-то ждал от нее. Под наносным слоем в ней таилось нечто подлинно человеческое. Неджла негодовала, когда ее младшая сестра Нуртен в своей дерзости переходила все границы, не останавливаясь даже перед оскорблением отца. Могла встать из-за стола и, хлопнув дверью,

демонстративно выйти из гостиной, если об ее отце говорили пренебрежительным тоном. Это были, правда, лишь периодические вспышки, в которых прорывалась подлинная человеческая сущность. Влияние окружающих было достаточно сильным, чтобы заглушить фальшью искренний голос ее внутреннего «я».

Со свойственной молодости горячностью я возмущался безропотностью Раифа-эфенди. Он не только терпел пренебрежение окружавших его на работе и дома людей, но и, похоже было, считал такое отношение естественным. Я знал, есть люди, испытывающие гордость и горькое удовлетворение при мысли, что их не понимают, что о них отзываются несправедливо, - но я никогда не мог себе представить, чтобы кто-нибудь оправдывал подобную несправедливость.

Впрочем, у меня было достаточно возможностей убедиться, что Раиф-эфенди был человеком весьма уязвимым. И хотя его взгляд казался рассеянным, ничто не ускользало от него. Однажды он попросил дочерей сварить мне кофе, а они стали препираться за дверьми, кому идти на кухню. Раиф-эфенди промолчал, сделав вид, что ничего не заметил. Однако в следующий мой приход, дней через десять, он сразу поспешил предупредить дочерей:

- Не надо варить кофе! Гость его не пьет.

Эта маленькая хитрость, тайным соучастником которой он меня сделал только ради того, чтобы избавить нас обоих от повторения тягостной сцены, разыгравшейся в прошлый раз, укрепила мое уважение к Раифу-эфенди.

В наших скупых разговорах не было никаких важных признаний. Это меня не удивляло. В уединенности его жизни, в его терпимости, снисходительном отношении к людским слабостям, в беззлобных усмешках, которыми он встречал наглые выходки, с достаточной ясностью проглядывала его истинная суть. Когда мы прогуливались вместе, я чувствовал, что рядом со мной - настоящий человек. Мне стало ясно, что люди ищут и находят друг друга не обязательно с помощью слов. Я понял, почему некоторые поэты всю жизнь ищут себе спутника, который, идя с ними рядом, молча любовался бы красотой окружающего мира. Я не мог бы внятно объяснить, чему научил меня этот молчаливый человек, который часто гулял вместе со мною, сидел напротив меня на службе, - но я был уверен, что почерпнул у него нечто такое, чего не мог бы мне за долгие годы дать ни один учитель.

И Раиф-эфенди, по-видимому, тоже привязался ко мне. Во всяком случае, я не замечал теперь у него настороженности и застенчивости, с которыми он встречал меня, как и всех других, в первое время нашего знакомства. Бывали, однако, дни, когда он вновь замыкался в себе. Глаза его тогда сужались, тускнели, теряли

всякое выражение, на все вопросы он отвечал сухим, исключающим фамильярность голосом. В такие дни у него не шла работа. Он то брал ручку, то откладывал ее в сторону и мог часами сидеть, уставившись в разложенные перед ним бумаги. Я понимал, что в эти минуты он находится совсем в другом месте, куда не хочет никого пускать, и не навязывал ему своего общества. Только беспокоился за него, зная, что приступы хандры, по странному совпадению, как правило, кончаются у него болезнью. Причину этого мне удалось выяснить довольно скоро, при весьма грустных обстоятельствах. Расскажу обо всем по порядку.

Как-то в середине февраля Раиф-эфенди опять не явился на службу. Вечером я отправился к нему домой. На мой звонок вышла Михрие-ханым.

- А, это вы? Пожалуйста. Он только что задремал. Но, если хотите, я разбужу его!

- Что вы, что вы, не надо! Как он себя чувствует? Она проводила меня в гостиную и предложила сесть.

- У него небольшой жар. Жалуется на боль в животе. Но самое худшее, сынок, - сказала она жалобным голосом, - он совсем не думает о себе. Он ведь не ребенок... По всякому пустяку нервничает... Не знаю, что с ним происходит. Какой-то нелюдимый стал, и двух слов из него не вытянешь. Уходит куда-то, шатается по холоду, а потом вот лежит, болеет...

Тут из соседней комнаты послышался голос Раифа-эфенди. Михрие-ханым побежала к нему. Я был в недоумении. Кто бы мог подумать, что человек, который педантично заботится о своем здоровье, ходит в теплом белье и кутается в шарф, поведет себя так легкомысленно?

- Он, оказывается, проснулся, услышав звонок, - сообщила Михрие-ханым, появляясь в гостиной. - Проходите, пожалуйста!..

Вид у Раифа-эфенди был, прямо сказать, неважный. Лицо пожелтело, осунулось. Дышал он учащенно и тяжело. В его детской улыбке на этот раз было что-то вымученное, напряженное. Спрятанные за стеклами очков глаза провалились еще глубже.

- Что с вами, Раиф-эфенди?.. Дай бог вам быстрейшего выздоровления!..

- Спасибо, - с трудом промолвил он хриплым голосом и сильно закашлялся.

- Вы простудились? - спросил я, подавляя тревогу. - Продуло, вероятно?

Он долго лежал неподвижно, уставившись на белое покрывало. От стоявшей в углу между кроватями маленькой чугунной печки так и веяло жаром. А он, видимо, все никак не мог согреться.

- Где-то простудился, - проговорил он, натягивая одеяло до подбородка. - Вчера после ужина вышел немного прогуляться…

- И куда же вы ходили?

- Просто так бродил. Нашло вдруг что-то на меня… Захотелось развеяться…

Я был удивлен. Раиф-эфенди никогда еще не жаловался на хандру.

- Видно, загулялся. До самого сельскохозяйственного института дошел. Потом еще дальше - до Кечиорена… (*Кечиорен - пригородный район Анкары*) Знаете, там такой крутой спуск - не захочешь, побежишь. Я вспотел, расстегнулся. А на улице было ветрено, шел мокрый снег. Вот меня и продуло…

Выбежать среди ночи из дому, часами бродить по пустынным улицам под снегом, да еще распахнувшись? Никак не ждал я такого от Раифа-эфенди.

- Что же на вас нашло? - спросил я.

- Да так, ничего особенного, - смутился он. - Бывает иногда, нападает блажь. Хочется побыть одному. То ли шум в доме надоедает, то ли скука привязывается. - И тотчас же, будто испугавшись, что сказал лишнее, быстро добавил: - Скорее всего, годы берут свое. А дети, семья тут ни при чем.

За стеной опять послышался шум, громкие голоса. В комнату вошла старшая дочь, только что вернувшаяся из лицея. Она наклонилась и поцеловала отца в щеку.

- Как чувствуешь себя, папочка?

Потом, поздоровавшись со мной, пожаловалась:

- Никакого сладу с ним нет, эфенди! Ни с того ни с сего на ночь глядя отправляется в кофейню. А потом продрогнет, промерзнет на улице или в той же кофейне и сваливается. И ведь не в первый раз! Ну что он потерял в этой кофейне?

Скинув с себя пальто, она бросила его на стул и так же внезапно, как появилась, исчезла. Раиф-эфенди, наверное, давно уже привык к подобным разговорам и не придавал им особого значения.

Я посмотрел ему прямо в глаза. И он на меня - в упор. На его лице ничего нельзя было прочесть. Меня удивляло не то, что он обманывает домашних, а то, что он откровенен со мной. Это внушило мне даже гордость. Приятно сознавать, что тебе доверяют больше, нежели другим…

На обратном пути я продолжал думать о Раифе-эфенди. Может быть, он самый что ни на есть банальный и пустой человек? Но ведь те, у кого нет ни цели, ни страстных увлечений, равнодушны ко всем, даже к самым близким. В таком случае чего же он мечется? А может быть, именно эта опустошенность, бесцельность су-

ществования и побуждает его бродить по ночам?

В этих размышлениях я незаметно дошел до гостиницы, где занимал крохотный номер на пару с товарищем. Можно было только удивляться, каким чудом туда сумели втиснуть две койки. Шел уже девятый час. Есть не хотелось. Я решил было подняться к себе и почитать, но передумал. Как раз в этот час в кофейне гремела радиола, а за стеной в соседней комнате истошным голосом вопила сирийская певица, - она распевалась перед выступлением. Я повернул назад и направился по грязному асфальту к Кечиорену. По обе стороны дороги жались друг к другу мелкие авторемонтные мастерские вперемежку с убогими деревянными кофейнями. Потом справа, на склонах холма, стали попадаться дома, а слева, в низине, показались огороды и сады с пожухлой листвой. В лицо мне дул сырой пронзительный ветер. Я поднял воротник. У меня вдруг появилось страстное желание побежать. Нестись, не останавливаясь, много часов и дней. Нечто подобное я испытывал лишь в опьянении. Я быстро зашагал вперед, не оглядываясь больше по сторонам. Усилившийся ветер толкал меня в грудь, - и я находил своеобразное удовольствие в борьбе с ним.

И вдруг, словно молния, у меня мелькнула мысль: зачем, собственно говоря, я сюда забрел? Да так просто, без всякой причины и цели. Деревья по обеим сторонам улицы стонали под напором ветра. Он стремительно гнал по небу рваные тучи, их клочья, казалось, цеплялись за гребни еле освещенных каменистых черных холмов впереди. Я шел, щуря глаза, и жадно вдыхал влажный воздух. А голову сверлил все тот же вопрос: почему я здесь?.. Накануне дул точно такой же ветер. Неудивительно, если и сейчас пойдет снег. «По этой же дороге, - вдруг подумал я, - проходил вчера другой человек, со шляпой в руке, в распахнутом пальто, протирая на ходу мокрые от тающего снега стекла очков. Ветер ерошил его редкие, коротко стриженные волосы, охлаждая разгоряченную голову. Что привело сюда больного, слабого и уже немолодого человека?» Я попытался представить себе, как Раиф-эфенди бродил здесь ночью. Теперь я понял, почему забрел в эти места. Мной руководило желание глубже проникнуть в его мысли и чувства. Должен, однако, признаться, что мне это не удалось. Ветер срывал с моей головы шляпу, громко роптали деревья. По небу проносились причудливых форм тучи - но все это не могло подсказать мне, какие мысли и чувства владели Раифом-эфенди. Побывать там, где был другой человек, - еще не значит проникнуть в его мысли. Предполагать иное мог только такой простофиля, как я.

Повернув назад, я вскоре очутился перед своей гостиницей. Не слышно уже было ни радиолы, ни песен сирийки. Мой товарищ, растянувшись на кровати, читал книгу.

- Ну что, нагулялся? - спросил он, покосившись в мою сторону.

Людям свойственно стремление лучше понять друг друга... Подобное желание было, очевидно, и у меня, когда я пытался постигнуть мысли и чувства другого. Но возможно ли это? Душа самого простого, самого убогого человечишки, пусть даже он непроходимый глупец, способна вызвать изумление своей противоречивостью. Но мы почему-то не хотим этого понять и с необыкновенной легкостью судим о людях. Почему мы не решаемся сразу определить сорт сыра, который нам дают на пробу, но, не задумываясь, выносим приговор первому встречному?

В ту ночь сон долго не приходил ко мне. Мысли мои все время возвращались к Раифу-эфенди, я представлял себе, как он мечется больной, в жару, под белым одеялом, в душной комнате, где рядом с ним спят его дочери и смертельно уставшая за день Михрие-ханым. Глаза у него закрыты, но мысли витают где-то далеко-далеко, - никому не узнать, где именно.

На этот раз болезнь Раифа-эфенди затянулась дольше обычного. Судя по всему, это была не просто простуда. Старичок-доктор, которого вызвал Нуреддин-бей, прописал больному горчичники и лекарство от кашля. С каждым моим посещением, - а я заходил регулярно через два-три дня, - Раиф-эфенди выглядел все хуже и хуже. Сам он, похоже было, не очень-то волновался и не придавал своей болезни особого значения. Возможно, он просто не хотел тревожить своих домочадцев. Однако Михрие-ханым и Неджла были так обеспокоены, что их состояние невольно передалось и мне. У Михрие-ханым все валилось из рук. Она с испуганным лицом то и дело заглядывала в спальню, потом, вспомнив, что забыла какую-то вещь, уходила; ставя горчичники, она роняла на пол то полотенце, то тарелку. Взывая взглядом о сочувствии, как потерянная, бродила по дому в шлепанцах на босу ногу. Неджла тоже была в расстроенных чувствах, хотя, может быть, и не в такой степени, как мать. В лицей она перестала ходить. Заботливо ухаживала за отцом. Когда по вечерам я приходил навестить больного, она встречала меня с раскрасневшимся лицом, - и по ее опухшим векам я догадывался, что она плакала. Все это, очевидно, еще сильнее угнетало Раифа-эфенди, и, оставаясь со мной наедине, он давал волю своим чувствам.

- Ну и что они все ходят с таким кислым видом? Хоронить меня собрались, что ли? - взорвался он однажды. - Я пока не собираюсь умирать. А умру - тоже невелика потеря. Им-то чего убиваться? Кто я для них?..

И, помолчав, добавил с еще более горькой и злой усмешкой:

- Ведь я для них пустое место… Сколько лет живем вместе, и никто еще ни разу не поинтересовался, что у меня на душе. А теперь делают вид, будто им меня жаль.

- Полноте, Раиф-эфенди, что вы говорите? Может быть, они и в самом деле слишком волнуются, но их нельзя за это осуждать - жена и дочь…

- Жена и дочь. И всего-то…

Он отвернулся. Я не знал, как понять его слова, но воздержался от расспросов.

Чтобы успокоить домочадцев, Нуреддин-бей вызвал терапевта. Тщательно осмотрев больного, тот нашел у него воспаление легких. Увидев в глазах родственников испуг, он попытался их утешить:

- Дело не так уж плохо! Организм у него, слава богу, крепкий, да и сердце здоровое. Так что, иншалла! (*Иншалла (иншаллах) если будет угодно богу, бог даст (ар.)*) выдержит. Только, конечно, нужен хороший уход. Лучше всего положить его в больницу.

При слове «больница» у Михрие-ханым подкосились ноги. Она рухнула на стул и разрыдалась. А Нуреддин-бей недовольно поморщился:

- Какая надобность? Дома уход лучше, чем в больнице!

Доктор пожал плечами и откланялся. :

Сам Раиф-эфенди был не прочь лечь в больницу.

- Хоть отдохнул бы там, - признался он как-то мне.

Ему явно хотелось побыть одному, но, поскольку все решительно восстали против больницы, он больше не заикался об этом.

- Все равно они и там не оставили бы меня в покое, - сказал он мне потом с грустной улыбкой.

Как-то под вечер в пятницу - я хорошо помню этот день - мы остались одни. Я сидел на стуле возле кровати и молча наблюдал за Раифом-эфенди, прислушиваясь к его тяжелому дыханию и мерному звонкому тиканью карманных часов, которые лежали на комоде между пузырьками с лекарствами.

- Сегодня мне получше, - пробормотал Раиф-эфенди, открыв глубоко ввалившиеся глаза.

- Не вечно же так будет продолжаться, - сказал я, имея в виду его болезнь.

- А как долго еще так может продолжаться? - отозвался Раиф-эфенди.

Я с ужасом понял истинный смысл его слов. Усталость, звучавшая у него в голосе, не оставляла никаких сомнений.

- Ну, зачем вы так, Раиф-бей?

- Вот именно - зачем? Зачем все это? Не хватит ли? - настойчиво развивал он свою мысль, глядя мне прямо в глаза.

Тут появилась Михрие-ханым.

- Сегодня ему полегче! - радостно объявила она мне. - Кажется, дело пошло на поправку. Иншалла, все обойдется и на этот раз!

Потом, обернувшись к мужу, добавила:

- В воскресенье у нас стирка... Ты попросил бы бей-эфенди захватить с работы твое полотенце!

Раиф-эфенди кивнул головой. Его жена, порывшись в шкафу и найдя наконец нужную вещь, снова удалилась. Стоило ей заметить небольшое улучшение в здоровье мужа, как все ее беспокойства, тревоги и волнения мигом улеглись. Теперь она опять, как и прежде, могла с головой погрузиться в привычные для нее домашние дела - стирку, уборку, стряц-ню. Как свойственно всем простым людям, она быстро переходила от печали к радости, от волнения к спокойствию. И так же быстро, с чисто женской переменчивостью, забывала обо всех неприятностях. В глазах Раифа-эфенди промелькнула едва уловимая грустная улыбка, указав головой на пиджак, висевший на спинке кровати, он застенчиво попросил:

- Там в правом кармане должен быть ключ, возьми его. Откроешь верхний ящик моего стола. И, если тебя не затруднит, принеси уж ей это полотенце.

- Завтра же вечером принесу.

Раиф-эфенди поднял глаза к потолку, помолчал, потом вдруг, обернувшись ко мне, скороговоркой произнес:

- Принеси все, что там лежит! Все, что есть, захвати. Жена, наверное, уже почуяла, что мне там больше не бывать. Мне теперь дорога в другое место...

И он, обессиленный, откинулся на подушку.

На следующий день, прежде чем уйти с работы, я осмотрел стол Раифа-эфенди. С правой стороны стола было три ящика. Сначала я открыл самый нижний - пуст. Во втором ящике лежали всякие бумаги и черновики переводов. Когда я стал открывать третий ящик, меня невольно охватило волнение: ведь я сидел на стуле Раифа-эфенди и, открывая ящик, повторял все движения, которые он проделывал по многу раз на дню. Верхний ящик тоже был почти пуст. Только в дальнем углу лежали грязное полотенце, кусок мыла в газетной бумаге, судок, вилка и зазубренный перочинный ножик марки «Зингер». Я быстро завернул все эти вещи в бумагу. Задвинув ящик, я приподнялся, но потом, решив еще раз проверить, не осталось ли там чего-либо, опять выдвинул ящик и пошарил в нем рукой. В самой глубине, у задней стенки, я нащупал какую-то тетрадь. Захватив ее, я выскочил на улицу.

«А ведь Раиф-эфенди прав, - вдруг мелькнула у меня мысль. - Он никогда уже сюда не возвратится, никогда не сядет за свой стол, не выдвинет заветный ящик, куда заглядывал по нескольку раз в день».

В доме Раифа-эфенди опять царил страшный переполох. Дверь открыла мне Неджла.

- Ни о чем не спрашивайте, - сразу же предупредила она меня.

За эти дни я стал как бы членом их семьи, и все домочадцы считали меня своим.

- Отцу снова стало плохо! - зашептала она. - Сегодня уже два приступа было. Мы ужасно все перепугались. Дядя привел доктора, он теперь там, у отца. Уколы делает...

Выпалив все это одним духом, девушка умчалась в спальню. Я решил пока подождать. Присел на краешек стула в гостиной и положил на колени сверток. Несколько раз появлялась и опять уходила Михрие-ха-ным, но я не решался вручить ей эти злосчастные вещи.

Совать ей грязное полотенце и старую вилку в тот момент, когда жизнь ее мужа в опасности, было в высшей степени неуместно. Я поднялся и начал ходить вокруг большого стола. Увидев свое отражение в зеркале буфета, я сам себя не узнал: лицо мое было бледно как полотно. Сердце учащенно билось. Страшно видеть, как человек - кем бы он тебе ни приходился - балансирует на шатком мостике между жизнью и смертью. Я понимал, что не должен печалиться больше, чем его родные - жена, дочери и другие родственники.

Через полуоткрытую дверь я заглянул в соседнюю комнату. Там я увидел Джихада и Ведада. Они сидели рядышком на диване, пыхтя сигаретами. По скучающему виду обоих было ясно, что лишь тяжкое сознание долга удерживает их сейчас дома. Напротив них, в кресле, сидела, подпирая подбородок рукой, Нуртен. Трудно было понять, то ли она плачет, то ли дремлет. Чуть поодаль, на кушетке, примостилась с детьми на руках Ферхунде. Она пыталась как-то их утихомирить, однако чувствовалось, что она совсем еще новичок в деле воспитания.

Наконец из спальни вышел доктор, за ним Нуред-дин-бей. Врач старался сохранять спокойствие, но вид у него был подавленный.

- Не отходите от него и в случае чего немедленно повторите инъекции, - наставлял он на ходу Нуреддин-бея.

Тот удивленно вздернул брови:

- Вы считаете, что положение опасное?

- Пока еще трудно сказать, - промолвил доктор с той уклончивостью, с какой обычно отвечают все медики в подобных случаях.

Чтобы избежать дальнейших расспросов, доктор поспешил надеть пальто, напялил шляпу, с кислой миной сунул в карман приготовленные заранее Нуред-дин-беем три серебряные лиры и торопливо удалился.

Я тихонько подошел к двери спальни и заглянул внутрь. Михрие-ханым и Неджла с напряженными лицами смотрели на Раифа-эфенди. Глаза у него были закрыты. Неджла, заметив меня, кивнула головой, приглашая войти. Им, вероятно, хотелось знать, какое впечатление на меня произведет вид больного. Я собрал все силы, чтобы не выдать волнения.

Слегка наклонив голову, дескать, все хорошо, можете не беспокоиться, я попытался даже изобразить нечто вроде улыбки.

- Ничего страшного, - прошептал я Михрие-ханым и Неджле. - Иншалла, и на этот раз все обойдется благополучно.

Раиф-эфенди, чуть-чуть приоткрыв глаза, посмотрел на меня невидящим взглядом. Потом, с трудом повернув голову, пробормотал что-то невнятное, сморщил лицо и сделал какой-то знак.

- Тебе что-нибудь надо, папочка? - спросила Неджла.

- Оставьте меня. На несколько минут, - произнес он слабым голосом.

Михрие-ханым показала нам всем на дверь. Однако больной, выпростав руку из-под одеяла, удержал меня.

- Ты останься!

Жена и дочь удивленно переглянулись.

- Только не раскрывайся, папочка, - умоляюще попросила Неджла.

Раиф-зфенди кивнул.

После того как дочь и жена вышли, Раиф-эфенди указал на сверток, о котором, признаться, я совсем забыл, и тихо спросил:

- Ты все принес?

Я недоуменно посмотрел на него. Неужели он оставил меня только для того, чтобы задать этот вопрос? Больной смотрел на меня, - в глазах его поблескивало нетерпение.

Только тогда я вспомнил о тетради в черном переплете. А ведь я даже не удосужился заглянуть в нее. Я и не представлял себе, что эта тетрадь так важна для Раифа-эфенди.

Я быстро развернул пакет, полотенце и все остальное положил на стул у дверей и, протянув больному тетрадь, спросил:

- Вы о ней спрашивали?

Он утвердительно кивнул головой.

Не в силах бороться с нарастающим л'юбопытством, я медленно перевернул несколько страниц, исписанных неровным, торопливым, довольно крупным почерком. Заглавия никакого не было, только в правом углу первой страницы стояла дата: «20 июня

1933». Я успел прочитать начало:

«Вчера со мной произошла странная история, которая заставила меня заново пережить события десятилетней давности...»

Раиф-эфенди судорожно схватил меня за руку:

- Не читай дальше...

И, показав на дальний угол комнаты, пробормотал:

- Брось ее туда!

Проследив за его взглядом, я увидел печку. За прозрачной слюдой трепетали и плясали красные язычки пламени.

- Куда? В печь? - недоверчиво переспросил я.

- Да...

Мое любопытство обострилось до крайности. Неужели я должен собственными руками уничтожить тетрадь?

- Разве вам ее не жаль, Раиф-эфенди? Ни с того ни с сего сжечь тетрадь, которой вы, вероятно, как ближайшему другу, поверяли свои сокровенные мысли?

- Она никому не нужна. Решительно никому.

Мне было ясно, что я должен сделать все возможное, чтобы заставить его отказаться от задуманного. Здесь, в этой тетради, он, по всей видимости, выразил так тщательно скрываемые ото всех порывы своей души и теперь решил унести с собой свою тайну. Этот человек ничего не хочет оставить другим людям, даже свое одиночество - и то намерен забрать с собой на тот свет. Мне было больно и обидно за него.

- Я вас понимаю, Раиф-эфенди. Очень хорошо понимаю. У вас есть все основания не доверять людям. Желание сжечь эту тетрадь вполне естественно. Но не могли бы вы отсрочить, ну хоть на один день, исполнение вашего приговора?

Он удивленно посмотрел на меня, как бы спрашивая: «Зачем?»

Решив не отступать и попробовать последнее средство, я пододвинулся к нему еще ближе и вложил в свой взгляд всю любовь к нему, все участие.

- Неужели вы не можете оставить мне эту тетрадь, хотя бы на одну ночь, всего лишь на одну ночь? Ведь мы с вами давно уже дружим, и за все это время вы мне ничего о себе не рассказали. Не находите ли вы мою просьбу вполне обоснованной? Почему вы таитесь от меня? Поверьте, вы для меня самый дорогой человек на свете. Почему же вы ставите меня на одну доску со всякими ничтожествами?..

На глаза у меня навернулись слезы. Что-то дрогнуло в груди. Мне хотелось излить всю накопившуюся в душе обиду на этого человека, который, вместо того чтобы искать сближения со мной, месяцами сторонился и чуждался меня.

- Может быть, вы и правы, отказывая людям в доверии, - продолжал я, переводя дыхание. - Но нельзя же всех под одну гребенку! Есть ведь исключения. Не забывайте, что и вы принадлежите к роду человеческому. То, что вы хотите совершить, - поступок эгоистический, к тому же и бессмысленный.

Я замолчал, испугавшись, что хватил через край. Больной не проронил ни слова. Тогда я сделал последнее усилие.

- Раиф-бей, войдите в мое положение. Вы уже в конце, а я еще только в начале жизненного пути. Я хочу лучше знать людей, и я хочу знать, чем они вас обидели.

Раиф-эфенди мотнул головой и что-то невнятно пробормотал. Я склонился над ним так низко, что ощутил на своем лице его горячее дыхание.

- Нет, нет! - твердил он. - Люди не сделали мне ничего дурного… Ничего… И я им… И я ничего…

Он умолк, уронив голову на грудь. Дыхание его стало еще более шумным и прерывистым. Наш разговор его явно утомил. Я сам чувствовал сильную душевную усталость и уже готов был выполнить его волю - бросить тетрадь в печку.

Но тут Раиф-эфенди снова приоткрыл глаза.

- Никто не виноват!.. Даже я…

Не в силах продолжать, больной тяжело закашлялся. Показав глазами на тетрадь, он еле внятно сказал:

- Прочти - сам все поймешь!

Я поспешно сунул тетрадь в карман и заверил его:

- Завтра же утром я ее принесу и на ваших глазах сожгу.

Больной с неожиданным безразличием пожал плечами. Делай, мол, что хочешь, - мне все равно.

По его жесту я понял, что он потерял интерес даже к этой драгоценной для него тетради, где, очевидно, была запечатлена самая важная часть его жизни. Прощаясь, я поцеловал ему руку. Он притянул меня к себе и поцеловал - сначала в лоб, а затем в обе щеки. Из глаз у него катились слезы. Он и не пытался их скрывать. Только смотрел на меня, не моргая, долго и пристально. И я тоже не выдержал, заплакал. Так беззвучно, без всхлипов, плачут лишь в самом большом горе, в самой глубокой печали. Я предчувствовал, что мне нелегко будет с ним расстаться. Но я не мог представить, что это расставание будет таким тяжелым и горьким.

Раиф-эфенди выдохнул, едва шевеля губами:

- Никогда, сынок, мы так откровенно с тобой раньше не говорили… А жаль!

И он снова сомкнул глаза.

Торопливо, чтобы никто из собравшихся у дверей домочадцев не разглядел моего лица, я прошел через гостиную и выскочил на улицу. Холодный ветер быстро осушил мои щеки. Я шел, ничего не видя перед собой, и, как в бреду, бормотал: «А жаль… жаль… жаль!..» Когда я вернулся в гостиницу, мой товарищ уже спал. Я мигом разделся, залез в постель, зажег лампу в изголовье и принялся читать тетрадь Раифа-эфенди.

*20 июня 1933*

Вчера со мной произошла странная история, которая заставила меня заново пережить события десятилетней давности. Боюсь, что эти воспоминания, навсегда, казалось бы, стертые в моей памяти, теперь никогда уже не оставят меня в покое. А все из-за предательской игры случая. Неожиданное происшествие воскресило в моей памяти прошлое и вывело меня из многолетнего сна, из того состояния спячки и полной апатии, к которому я постепенно привыкал все эти годы. Не хочу сказать, что мне угрожает опасность сойти с ума или покончить с собой. Человек очень быстро смиряется с тем, что поначалу кажется невыносимым. И я, наверное, свыкнусь с такой жизнью. Это будет не жизнь, а мучительная пытка! Но я все выдержу. Как выдерживал до сих пор…

И только с одним мне трудно будет смириться - с полным одиночеством. Скрывать в себе все тайны выше моих сил. Мне так хочется излить кому-нибудь душу. Но кому? Во всем этом огромном мире нет, кажется, человека более одинокого, чем я. За последние десять лет я ни с кем не делился своими переживаниями. Всегда почему-то всех чуждался, и, естественно, все сторонились меня. Но разве я могу изменить свой характер? Поступать по-другому? Нет, изменить уже ничего невозможно. Да и ни к чему это! Так есть, и так, очевидно, должно быть. Если бы я мог кому-либо довериться! Но у меня уже нет сил искать такого человека. Вот почему я завел эту тетрадь. Будь у меня хоть какая-нибудь другая надежда, ни за что не взялся бы за перо. Ведь больше всего на свете ненавижу всякую писанину… Ах, если бы не вчерашняя встреча! Я мог бы жить по-прежнему, тихо и мирно…

Я встретил их обеих вчера на улице. Одну из них я увидел впервые, да и другую, можно сказать, почти не знал, так далеки мы были друг от друга. Мне и в голову никогда не пришло бы, что ужасные последствия этой встречи перевернут всю мою жизнь!..

Но раз уж я сел писать, попытаюсь рассказать все спокойно и по порядку. Для этого надо вернуться на десять - двенадцать лет назад, а может быть, и на пятнадцать. Я хочу написать обо всем откровенно, ничего не тая. Если мне и не удастся навсегда потопить преследующие меня кошмары в бессмысленных подробно-

стях, то я испытаю хоть какое-то облегчение. Возможно, облеченные в слова воспоминания окажутся не такими горькими, как сама действительность. Многое предстанет передо мной в ином свете, покажется более простым и не таким важным, - и я устыжусь своих чувств.

Родом я из Хаврана. Там закончил начальную школу, а учебу продолжал в Эдремите - этот городок совсем от нас рядом. Незадолго до конца мировой войны - мне было тогда девятнадцать - меня взяли в армию. Но пока я находился в учебном центре, заключили мир. Я вернулся в свой уезд и снова поступил в среднюю школу. Однако закончить ее не удалось. Откровенно говоря, у меня никогда не было особой охоты учиться. Около года я все же прозанимался в школе, но происходившие тогда бурные события совсем расхолодили меня. После подписания договора порядок в стране так и не установился. Все трещало по швам - не было ни прочного правительства, ни веры, ни цели. В одних районах хозяйничали иностранные оккупанты, в других разгуливали отряды повстанцев, а то и просто банды грабителей. Одни нападали на врагов, другие занимались грабежом крестьян. Бывало, кого-нибудь провозгласят героем, а через неделю, смотришь, он уже болтается на виселице посреди центральной площади Эдремита. В такое время трудно, конечно, заставить себя сидеть в четырех стенах, зубрить историю Османской империи или читать нравоучительные побасенки. Однако мой отец, считавшийся одним из самых состоятельных в наших местах людей, во что бы то ни стало хотел вывести меня в люди. Глядя на моих сверстников, которые, опоясавшись патронташами и нацепив маузеры, вступали в повстанческие отряды или банды, отец не на шутку испугался, как бы я не последовал их примеру. Его страх за меня еще больше возрос, когда до нас стали доходить вести о гибели то одного, то другого моего товарища. Кто пал от пули врага, а кто был убит бандитами. Его опасения были небезосновательными. Мне не хотелось сидеть дома сложа руки, и я начал потихоньку собираться в путь. В это время, однако, оккупационные войска дошли до нашего уезда, и мой геройский пыл быстро угас.

Несколько месяцев я бродил как неприкаянный.

Почти все мои друзья разъехались. Отец решил послать меня в Стамбул. «Подбери, - сказал он мне, - подходящую школу и учись!» Я никогда не отличался ни способностями, ни предприимчивостью, и такой совет лишний раз доказывал, как плохо он меня знал. Но и у меня было свое тайное увлечение. На уроках рисования я всегда удостаивался похвал учителей. Рисовал я и в самом деле неплохо. И даже мечтал поступить в школу изящных искусств в Стамбуле. Сладостные мечты! Им предавался я с самого

раннего детства. По природе своей я был тихим и страшно застенчивым. Это часто ставило меня в неловкое, а то и глупое положение. Для меня не было большей муки, чем пытаться исправить чье-то мнение о себе, не хватало даже смелости вымолвить хотя бы слово в свою защиту. Когда меня наказывали за проделки школьных товарищей, я только горько плакал дома, забившись в дальний угол. «Тебе бы не парнем, а девчонкой родиться!» - стыдили меня мать и отец. Больше всего я любил уединяться в нашем саду или на берегу реки, где мог бы предаваться мечтам. Эти мечты, в полную противоположность моим поступкам, отличались смелостью и размахом. Как герои прочитанных мною бесчисленных романов, я предводительствовал отрядом преданных мне всей душой людей; с маской на лице и двумя револьверами на поясе увозил в горы красавицу Фахрие, девушку из соседнего квартала, которая будила во мне неясные сладостные чувства. И вот мы с ней в пещере. Она дрожит от страха, но, увидев перед собой верных моих сподвижников и неисчислимые богатства, отныне принадлежащие и ей, успокаивается. В душе ее - удивление и восторг. Открыв лицо, она со слезами радости на глазах бросается мне на шею. То я воображал себя великим путешественником, странствовал по Африке, сталкивался с людоедами, - и со мной происходили невероятные приключения; то я был знаменитым художником, разъезжал по всей Европе. Моя фантазия питалась книгами Мишеля Зевако (*Мишель Зевако (1860 - 1918) - французский публицист, критик и романист, автор более тридцати книг*), Жюля Верна, Александра Дюма, Ахмеда Митхата-эфенди (*Ахмед Митхат-эфенди (1844 - 1912) - турецкий романист-просветитель*), Веджихи-бея (*Веджихи (1869 - 1904) - популярный турецкий беллетрист*) и многих других.

Отец был недоволен этим моим увлечением. Иногда он бесцеремонно отбирал у меня книги или же просто оставлял на ночь без света. Но ничто не могло остудить мой пыл. Я смастерил себе самодельную коптилку и продолжал зачитываться «Парижскими тайнами» (*Роман французского писателя Эжена Сю (1804 - 1857)*) и «Отверженными». Видя, что со мной ничего не поделаешь, отец в конце концов оставил меня в покое. Читал я все, что попадется под руку, и каждая прочитанная книга, будь то приключения месье Лекока или жизнеописания Мурад-бея (*Мурад-бей (Тарихчи; ум. в 1917г.) - турецкий писатель; историк, автор шеститомной «Всемирной истории»*), производила на меня неизгладимое впечатление.

Прочитав о том, как древнеримский юноша Муций Сцевола (*Гай Муций Сцевола - легендарный герой времен борьбы римлян против этрусков (конец VI - начало V в. до и. э.)*) на угрозу врагов

быть преданным пыткам сам положил руку в огонь, но сообщников не выдал, я тоже решил подвергнуть свое мужество испытанию и до волдырей обжег пальцы. Этот герой древности, который мог с невозмутимой улыбкой перенести любую боль, на всю жизнь остался для меня образцом самообладания. Я пробовал и сам пописывать, даже сочинял стишки, но очень скоро отказался от подобных попыток. Причиной тому был все тот же непреодолимый глупый страх выдать свои чувства. Но рисованием я продолжал заниматься. Мне казалось, что тут не обязательно выворачивать душу наизнанку. Нужно только запечатлевать действительность, какой она есть, - а роль художника сводится к своеобразному посредничеству. Убедившись в ошибочности своих представлений, я забросил и рисование. Все из-за той же проклятой робости...

В Стамбуле, в школе изящных искусств, я сам, без чьей-либо подсказки, понял, что графика - тоже один из видов самовыражения и требует полной самоотдачи. Осознав это, я перестал посещать школу. К тому же учителя не обнаруживали у меня особых талантов. Это и понятно. Из всех рисунков, которые я делал дома или в мастерской, я показывал только самые невыразительные. Рисунки же, хоть в какой-то мере выражавшие мой характер или дававшие представление о моем внутреннем мире, я тщательно скрывал от посторонних. Если все же такие рисунки случайно попадались кому-либо на глаза, я заливался румянцем, словно застигнутая в неподобающем виде девица, и убегал.

Оставив школу, я долго шатался по Стамбулу, не зная, чем заняться. То были трудные годы перемирия. Суматошливость и цинизм столичной жизни нестерпимо угнетали меня. Я решил вернуться в Хавран и написал отцу, чтобы он выслал мне денег на обратный путь. Дней через десять я получил от него длинное послание. Отец, полный решимости сделать из меня делового человека, прибегнул к последнему средству.

Он прослышал, что в Германии из-за свирепствовавшей там инфляции жизнь стала дешевле, чем даже в Стамбуле, и решил отправить меня туда для изучения мыловаренного дела, в особенности технологии изготовления душистых мыл. На оплату расходов он выслал мне необходимую сумму. Радости моей не было предела. Не то чтобы я горел желанием изучать мыловаренное дело. Я был счастлив, что наконец-то увижу своими глазами Европу, которая с самого детства в тысячах образов рисовалась моему воображению.

«Постарайся, - наставлял отец, - года за два как следует овладеть этим делом. После твоего возвращения мы переоборудуем и расширим фабрику, ты станешь ею управлять, поднатореешь в тор-

говле и, с божьей помощью, разбогатеешь и заживешь припеваючи…»

Но я не желал прислушиваться к его наставлениям. Помыслы у меня были иные: я радовался, что смогу изучить немецкий язык и читать на нем книги, получу возможность общаться с людьми, с которыми был знаком только по романам, и вообще «открыть» для себя Европу… может быть, моя замкнутость, отчужденность как раз и порождены тем, что я не встречал в жизни людей, походивших на моих любимых книжных героев?

Сборы заняли у меня не больше недели. Поезд в Берлин шел через Болгарию. Немецкого языка я, разумеется, не знал. Успел только заучить по дороге несколько фраз из разговорника. С помощью этих фраз я довольно быстро разыскал в Берлине пансионат, адрес которого мне дали знакомые еще в Стамбуле.

* * *

Первые недели пребывания в Берлине я усердно занимался языком и с удивлением присматривался ко всему, что видел вокруг. Впрочем, очень скоро я перестал изумляться. В конце концов все города похожи один на другой. Улицы в Берлине немного шире и гораздо

15

449

чище, чем в Стамбуле, светловолосых людей здесь больше. Но нет ничего такого, что могло бы по-настоящему захватить дух. Европа представлялась моему воображению некой сказочной страной. Я и сам плохо понимал, чем уступает реальный город тому, который рисовался в моем воображении. Я до сих пор не могу уяснить себе, почему в реальной жизни мы не встречаем чудес, о которых грезим в детстве.

Без знания языка нельзя было приниматься ни за какое дело, и я начал брать уроки у отставного офицера, который во время мировой войны был в Турции и умел немного говорить по-турецки. Кроме того, хозяйка пансионата любила поболтать со мной в свободную минуту, что тоже было неплохим подспорьем для моей языковой практики. И другие обитатели пансионата не прочь были познакомиться поближе с турком и все время приставали ко мне с глупыми расспросами. За ужином собиралась разношерстная публика. У меня завязались дружеские отношения с вдовой голландца фрау Ван Тидеманн, герром Камера, португальским купцом, занимавшимся поставкой апельсинов с Канарских островов, и престарелым герром Доппке. Герр Доппке занимался торговлей в Камеруне, а после войны, оставив там все, возвратился на родину. Тех денег, которые он успел нажить, вполне ему

хватало. Днем он посещал различные митинги и собрания - их тогда в Берлине проводилось великое множество, а за ужином делился с нами своими впечатлениями. Часто он приводил с собой безработных отставных немецких офицеров, и часами спорили они о политике. Насколько я мог понять, они считали, что для спасения Германии требуется поставить у руля государства человека железной воли, вроде Бисмарка, и, не теряя времени, готовиться ко второй мировой войне, дабы взять реванш за вопиющую несправедливость, допущенную по отношению к их стране.

Иногда кто-то из жильцов уезжал, на освободившееся место тут же водворялся новый постоялец. Со временем я привык к этим переменам, точно так же как к светящемуся красному абажуру в полутемной столовой, к прочно устоявшемуся запаху капусты, которой потчевали нас ежедневно, и к политическим спорам моих сотрапезников. Как надоели мне эти бесконечные дискуссии! Каждый из спорщиков предлагал свой рецепт спасения Германии. И каждый при этом, разумеется, пекся вовсе не о благе Германии, а о своих личных интересах. Пожилая женщина, почти разоренная инфляцией, костила почем зря военных, офицеры честили бастующих рабочих и солдат, отказавшихся продолжать войну, торговец колониальными товарами поносил императора, виновника этой войны. Даже горничная, убиравшая по утрам мою комнату, пыталась заводить со мной разговор о политике и в каждую свободную минуту жадно набрасывалась на газету. У нее тоже были свои политические убеждения и взгляды. Она с жаром отстаивала их, яростно потрясая кулаками.

Честно говоря, я почти забыл, зачем приехал в Германию. О необходимости изучить мыловаренное дело я вспоминал, лишь получая очередное письмо от отца. Сообщая ему, что я занимаюсь языком и в ближайшее время намерен приступить к детальному изучению мыловарения, я пытался успокоить его, а заодно и самого себя. Дни шли, ничем не отличаясь один от другого. Я облазил весь Берлин, побывал несколько раз в зоопарке, обошел все музеи и выставки. За несколько месяцев этот огромный город успел разочаровать меня. «Вот тебе и Европа! - ворчал я. - И что тут особенного?» Берлин начинал казаться мне наискучнейшим местом во всем мире.

Как правило, после обеда я слонялся по людным центральным улицам, вокруг себя я видел много женщин, некоторые шли с подчеркнуто серьезным видом, другие, наоборот, повиснув на руке своего кавалера, улыбались и бросали по сторонам томные взгляды. Многие из мужчин в штатском сохраняли военную выправку.

Чтобы не выглядеть полным обманщиком в глазах отца, я с помощью своих товарищей-турок разыскал одну фирму, производившую мыло высоких сортов. Немцы, служащие этой фирмы, которая принадлежала какому-то шведскому синдикату, встретили меня дружелюбно, в них еще, по-видимому, был жив дух боевого товарищества, связывавшего их с моими земляками. Однако в тайны производства они меня не захотели посвящать. Ничего нового для себя я от них не узнал. Может быть, они не хотели выдавать свои секреты, а может быть, почувствовали во мне недостаток интереса к делу и решили, что заниматься со мной - только зря время тратить. Я почти не посещал мыловаренную фабрику, а там никто мной, естественно, не интересовался. Письма отцу я писал все реже и реже и жил, не задумываясь даже над тем, зачем приехал в Берлин.

Три раза в неделю по вечерам я брал уроки у отставного офицера, а днем шатался по музеям и выставочным залам. Возвращался в пансион я поздно и уже за сто метров от него чувствовал раздражающий запах капусты. Через несколько месяцев я начал потихоньку избавляться от тоски и скуки. Старался больше читать и получал от этого все возрастающее удовольствие. Я заваливался на постель, открывал книгу, клал рядом истрепанный толстый словарь - и часами предавался своему любимому занятию. Нередко у меня не хватало терпения рыться в словаре, и я лишь по интуиции ухватывал смысл предложения. Перед моим умственным взором открывался совершенно новый мир. В отличие от тех переводных и подражательных книжонок, которыми я зачитывался в детстве и в пору ранней юности, в этих книгах речь шла не о каких-то необыкновенных героях и фантастических приключениях, а о самых будничных событиях, об окружающих меня людях, в которых я находил частицу самого себя. Читая такие книги, я стал замечать вещи, которых до сих пор не понимал и не видел, и все глубже проникал в их истинный смысл. Наибольшее впечатление на меня производили русские писатели. Повести Тургенева я проглатывал залпом. Несколько дней мною всецело владело очарование одной из этих повестей. Ее героиня Клара Милич влюбляется в простодушного студента, но тщательно скрывает от всех свою страсть. Так она становится жертвой безумного увлечения глуповатым человеком, и ее терзают муки стыда. Эта девушка была мне очень близка по духу. Чтобы не выдать своих переживаний, она готова задушить ревностью и недоверчивостью самые лучшие, самые прекрасные, самые глубокие свои чувства. Не таков ли и я?

Полотна старых мастеров, которыми я любовался в музеях, сделали мою жизнь содержательнее и интереснее. Я часами созер-

цал шедевры в Национальной галерее, а потом по нескольку дней ходил под впечатлением какого-нибудь портрета или пейзажа.

Так прошел почти год моего пребывания в Германии. Как-то, в один дождливый, сумрачный октябрьский день - я запомнил его на всю жизнь, - перелистывая газету, я наткнулся на критическую статью о выставке молодых художников. Честно говоря, я мало что смыслил в модернистском искусстве. Претенциозность и вычурность их картин, стремление выдвинуть свое «я» на первый план претили моей натуре. Я не стал даже читать эту статью. Но через несколько часов, во время своей обычной прогулки по. городу, я случайно оказался около того самого здания, где была выставка. Никаких срочных дел у меня не было. Я решил зайти и долго бродил по выставке, рассеянно скользя глазами по развешанным на стенах многочисленным картинам.

Многие полотна - их было большинство - вызывали невольную улыбку: остроугольные колени и плечи, непропорционально большие головы и груди; пейзажи в неестественно ярких тонах, словно составленные из цветной бумаги; хрустальные вазы, похожие на обломки кирпича; безжизненные, будто вытащенные из книг, где они пролежали несколько лет, цветы и, наконец, ужасные портреты каких-то дегенератов или преступников... Посетителей это веселило. Между тем таких художников, которые ценой малых усилий пытались добиться большого успеха, следовало бы осуждать. Но как ругать тех, кто и не претендует на понимание, даже доволен, что над ним откровенно потешаются? Такие люди не вызывают ничего, кроме жалости.

У выхода из большого зала я вдруг застыл. Мне трудно сейчас, по прошествии стольких лет, передать овладевшие мною в тот миг чувства. Я только помню, что долго как вкопанный стоял перед портретом женщины в меховом манто. Меня толкали слева и справа, но я не в силах был сдвинуться с места... Чем поразил меня портрет? Объяснить этого я не могу. Могу сказать только, что до той поры не встречал подобной женщины. В ней было что-то необычное, гордое и даже немного дикое. И хотя с первого, мгновения я знал, что никогда и нигде не видел сколько-нибудь похожего лица, мне упорно чудилось в нем что-то знакомое. Бледные щеки, черные брови и черные глаза, темно-каштановые волосы. Неповторимые черты, выражающие и чистоту, и силу воли, и безграничную тоску. Эта женщина была мне уже знакома. Это о ней читал я в книгах еще семилетним ребенком. Это ее образ я видел в мечтах с пяти лет. В ней было что-то и от Нихаль из романа Халида Зия (*Нихаль - героиня романа «Запретная любовь» турецкого классика Халида Зия Ушаклыгиля (1866 - 1945)*), и от Мехджуре Веджихи-бея (*Нихаль - героиня романа «Запретная*

*любовь» турецкого классика Халида Зия Ушаклыгиля (1866 - 1945)*), и от возлюбленной рыцаря Буридана, и от Клеопатры - героинь прочитанных мною исторических книг, - и даже от Амине Хатун, матери Мухаммеда, - ее образ сложился в моем представлении еще в детстве, когда я слушал житие пророка. Она как бы вобрала в себя сразу всех женщин моих мечтаний.

Слегка повернутое влево лицо и шея ее оттенялись ягуаровым мехом, подчеркивавшим их удивительную белизну. В черных глазах светилась глубокая мысль. Ее взгляд, казалось, с последней надеждой искал нечто такое, чего, она знала, нельзя найти. В нем таились и грусть, и скрытое удовлетворение. Был даже вызов. «Я не найду того, что ищу, - говорил ее взгляд. - Ну и пусть!» То же самое, еще более явственно, подчеркивали ее полные чувственные губы. Веки были чуть припухшие. Брови - не слишком густые, но и не редкие; не очень длинные волосы ниспадали на ягуаровый мех, острый подбородок слегка выдавался вперед. Тонкий, чуть удлиненный нос.

Дрожащими руками я перелистал каталог в надежде найти хоть какие-нибудь подробности об этой картине. На одной из последних страниц, в самом низу, рядом с номером картины, я прочел лишь три слова: «Мария Пудер. Автопортрет». И больше ничего. Никаких других работ этой художницы не было выставлено. Признаюсь, это даже обрадовало меня. Я боялся, что другие картины Марии Пудер могут оказаться слабее и даже умерят первоначальный восторг. Я проторчал на выставке до позднего вечера, лишь изредка я отходил от автопортрета и, обежав невидящим взглядом выставку, возвращался на прежнее место. И каждый раз находил в лице женщины в манто что-то новое. Жизнь как будто проявлялась в нем все ярче и ярче. По временам мне даже мерещилось, что потупленные глаза этой женщины тайно меня рассматривают, а ее губы слегка подрагивают.

Наконец в зале никого не осталось. Торчавший у дверей здоровенный сторож, очевидно, никак не мог дождаться моего ухода. Преодолев внутреннее сопротивление, я быстрым шагом направился к выходу. Накрапывал дождь. Вопреки обыкновению я не стал блуждать по улицам и кратчайшим путем возвратился в пансион. У меня было одно желание - побыстрее поужинать, закрыться у себя в комнате, остаться наедине. За столом я ни с кем не разговаривал. На вопрос хозяйки пансиона фрау Хеппнер, где я был, я тихо пробормотал:

- Нигде… Просто так бродил… Заглянул на выставку художников-модернистов…

За столом тотчас вспыхнул спор о модернистском искусстве. Воспользовавшись этим, я незаметно удалился в свою комнату.

Когда я стал раздеваться, из кармана пиджака вывалилась газета. Сердце мое уча-. щенно забилось. Эту газету я купил утром, там статья о выставке. Я поспешно развернул газету, чуть не порвав ее, так мне не терпелось узнать хоть что-нибудь о поразившей меня картине и ее авторе. От природы я человек медлительный и флегматичный, поэтому сам удивился своему нетерпению. Я быстро пробежал глазами начало статьи. И только где-то в самой середине натолкнулся наконец на имя, которое узнал из каталога: «Мария Пудер».

В статье довольно пространно разбиралось творчество молодой художницы, которая впервые представила свою картину на выставку. В ней говорилось, что художница, тяготеющая к классической манере письма, обладает незаурядным даром самовыражения и заметно отличается от многих живописцев, грешащих «приукра-шательством» или «намеренным подчеркиванием уродства». После детального разбора техники критик писал, что ее картина и по композиции, и по выражению лица изображенной на ней женщины, очевидно, чисто случайно имеет удивительное сходство с «Мадонной» Андреа дель Сарто (*Андреа дель Сарто (1486 - 1530) - итальянский художник эпохи Возрождения*). Автор обзора, в шутливой форме пожелав успехов «Мадонне в меховом манто», переходил далее к разбору картин других художников.

На следующий день я первым делом отправился искать репродукцию «Мадонны». Я обнаружил ее в большом альбоме картин Сарто. По плохо отпечатанной репродукции не так-то легко судить об оригинале, но все же нельзя было не согласиться с главным выводом автора статьи. Мадонна Сарто сидела на возвышении, с младенцем на руках. Справа от нее стоял бородатый мужчина, слева - совсем еще юный отрок. Что-то в ее лице, осанке, взгляде заставляло вспомнить вчерашний автопортрет. Хозяин согласился продать мне эту репродукцию отдельно. Захватив ее, я поторопился домой. Впервые в жизни видел я подобное изображение мадонны. Обычно святая Мария на картинах выглядит слишком уж безгрешной; ее устремленный на младенца взгляд выражает чуть ли не самодовольство: «Вот видите, какой дар ниспослал мне господь!» Иногда же Мария походит на служанку, с растерянной улыбкой любующуюся младенцем, отца которого она и сама не может назвать. Мадонна же на полотне Сарто - зрелая женщина, которая научилась думать, познала жизнь и имеет право смотреть на нее с иронической усмешкой. И глядит она, раздумывая о чем-то своем, не на святых, почтительно стоящих по сторонам, не на Иисуса-младенца и даже не на небо, а в землю.

Я отложил репродукцию в сторону. Закрыв глаза, попытался оживить в памяти портрет на выставке. И только в этот момент наконец осознал, что женщина, нарисованная на картине, существует в действительности. Если художница изобразила самое себя, значит, эта необыкновенная женщина ходит среди нас, смотрит своими черными глазами в землю или на окружающий мир, разговаривает, улыбается пухлыми губами, словом, живет, как и все люди. Выходит, ее можно даже встретить где-нибудь... Эта мысль вызвала во мне испуг. И впрямь, разве не страшно повстречаться с такой женщиной человеку, столь не искушенному в любви, как я?

В свои двадцать четыре года я ни разу не испытывал настоящего любовного увлечения. Правда, еще в Хавране я вместе со старшими приятелями посещал кое-какие злачные места, но в памяти моей сохранились только попойки. Природная стеснительность помешала мне пойти туда снова. В жаркие летние дни, растянувшись под сливой, я мечтал о женщинах, которые рисовались мне недоступными существами, но мечты эти были бесконечно далеки от жизни. Долгие годы я был тайно влюблен в соседскую девушку Фахрие. В своем воображении я позволял себе с ней любое бесстыдство, но стоило мне завидеть ее на улице, как сердце мое начинало бешено колотиться, лицо вспыхивало огненным румянцем, - и я обращался в бегство. В праздничные вечера рамазана я, бывало, прятался у дверей ее дома, чтобы посмотреть, как она вместе со своей матерью и сестрами пойдет с фонарем в мечеть. Но едва распахивалась дверь и я видел облаченных в черные накидки женщин, как тотчас отворачивался к стене, боясь, что они меня узнают.

От любой женщины, которая нравилась мне хоть чуточку, я всегда стремился убежать. Мне было страшно, что какой-нибудь неосторожный жест или взгляд выдаст мою тайну. Необъяснимый гнетущий стыд делал меня несчастнейшим человеком на земле. Но я ничего не мог с собой поделать. Никогда в жизни я не решался посмотреть прямо в глаза какой-нибудь женщине, даже собственной матери. В последние годы, особенно во время учебы в Стамбуле, я тщился побороть в себе эту чрезмерную застенчивость, пытаясь держать себя как можно свободнее со знакомыми девушками. Но стоило мне заметить или заподозрить, что кто-то из них проявляет ко мне малейший интерес - вся моя непринужденность и напускная смелость сразу же исчезали. Не подумайте, однако, что я был ханжой. Оставаясь в одиночестве, я рисовал себе сцены, которые, может быть, смутили бы даже самых опытных волокит. И чудилось мне тогда, будто моих губ касаются пьянящие, обжигающие женские губы. И это ощущение было

гораздо сильнее реального.

Увиденный на выставке портрет женщины в меховом манто потряс меня до глубины души. Невозможно было не только мечтать о ее любви, но даже подумать о том, что с ней можно встретиться и посидеть рядом, как с добрым другом. Зато меня .снова и снова жгло непреодолимое желание отправиться на выставку и любоваться там ее портретом, в полной уверенности, что никто не сумеет проникнуть в мою тайну. Не в силах противиться своим желаниям, я в конце концов набрасывал пальто и спешил на выставку.

Обычно это бывало в послеобеденное время. Я медленно прохаживался вдоль стен, делая вид, будто разглядываю картины, ноги же сами несли меня к заветной цели - «Мадонне в меховом манто». Оказавшись перед ней, я останавливался и не сводил с нее глаз вплоть до самого закрытия. Конечно, на меня обратили внимание служители выставки и постоянно бывавшие там художники. Мое появление всякий раз вызывало у них улыбку. В последние дни я перестал ломать комедию и даже не подходил к другим экспонатам, - сразу же усаживался напротив своей мадонны и смотрел на нее, отводя взгляд лишь на несколько минут для отдыха.

Мое поведение, разумеется, возбуждало все большее любопытство. Однажды ко мне подошла молодая женщина, - вероятно, художница, - я уже несколько раз видел ее в зале, где она оживленно беседовала с художниками, которые выделялись среди прочих посетителей своими длинными волосами, черными костюмами и огромными галстуками.

- Вам нравится эта картина? - спросила она. - Вы каждый день ее рассматриваете.

Я быстро опустил глаза. Развязный и слегка насмешливый тон молодой женщины сразу же восстановил меня против нее. Короткое платье открывало обтянутые чулками длинные ноги, которым нельзя было отказать в стройности. Удлиненные носы ее туфель вызывающе поблескивали, бедра слегка покачивались, и по всему ее телу, казалось, пробегала волна. Поняв, что она не уйдет, пока не дождется ответа, я с трудом выдавил из себя:

- Картина прекрасная…

Затем, сам не зная почему, я прибег ко лжи, чтобы хоть как-то объяснить свое поведение.

- Это женщина очень похожа на мою мать…

- Поэтому вы и простаиваете здесь часами?

- Да.

- Ваша мать умерла?

- Нет.

Она смотрела на меня, как бы требуя более вразумительного ответа. И я, не поднимая головы, добавил:

- Она живет очень далеко…

- Где же?

- В Турции.

- Вы турок?

- Да.

- Я сразу догадалась, что вы иностранец! - С легким смешком она села рядом со мной и закинула ногу на ногу. Платье ее задралось выше колен, и я, как всегда, залился предательским румянцем. Мое смущение, кажется, еще более ее развеселило.

- А у вас что, нет фото вашей матери? - спросила она.

Ее назойливость раздражала меня. Я был уверен, что единственная ее цель - посмеяться надо мной. К тому же я заметил устремленные на нас насмешливые взгляды других художников.

- Есть, конечно, - уклончиво ответил я. - Но это совсем другое дело!

- Ах, вот как - другое дело? - переспросила она, посерьезнев, и вдруг снова расхохоталась.

Заметив, что я хочу встать, молодая женщина упредила меня:

- Не извольте беспокоиться. Сейчас уйду, оставлю вас наедине с вашей мамой!

Она поднялась, но, едва отойдя на несколько шагов, вернулась и уже совсем не тем тоном, каким только что говорила, серьезно и, как мне показалось, даже с некоторой грустью спросила:

- Вам в самом деле хочется, чтобы у вас была такая мать?

- Очень!

- Вот как… - произнесла она и поспешила к выходу. Тут только я осмелился поднять глаза. Волосы ее колыхались в такт шагам, а руки, засунутые в карманы, были плотно прижаты к бокам.

Я сам не понимал, зачем сказал ей последнюю фразу, солгав так нелепо и глупо. Я подхватился и, стараясь ни на кого не смотреть, вылетел на улицу.

В душе у меня было очень странное ощущение. Как будто я только что сошел с поезда, покинув попутчика, с которым успел коротко сойтись в дороге. Больше нога моя не переступит порог этой выставки! Люди не хотят понять друг друга, и вот по их милости я лишился и этой своей радости.

Возвращаясь в пансион, я с ужасом думал о том, что мне опять придется вести бессмысленную жизнь, выслушивать за столом доморощенные планы спасения Германии, жалобы на дороговизну жизни и инфляцию либо, запершись в своей комнате, читать рассказы Тургенева и Теодора Шторма (*Теодор Шторм (1817 - 1888) - немецкий поэт-лирик, новеллист*). Только теперь я осознал,

что за последние две недели моя жизнь начала приобретать некий смысл. В пустой и унылой мгле внезапно забрезжил слабый свет надежды, которой я боялся даже поверить, забрезжил - и с такой же неожиданностью погас. Только теперь я понял, что утратил. С детских лет я, сам того не сознавая, искал одного-единственного человека, - именно это и отдалило меня от всех других людей. Портрет мадонны внушил мне веру, что такой человек существует, более того, - что он совсем рядом. Утратить эту веру было для меня подобно смерти, разочарованию моему не было предела. Я повел еще более уединенный и замкнутый образ жизни. Стал даже подумывать, не написать ли отцу письмо и не вернуться ли на родину. Но что я отвечу, если он спросит: «Чему ты научился в Европе?» Нет, решил я, надо еще на несколько месяцев остаться, чтобы как следует изучить мыловаренное дело. Я снова пошел на фабрику и, несмотря на довольно прохладный прием, начал регулярно ее посещать. Моя записная книжка наполнилась формулами и рецептами, и я стал усердно изучать специальную литературу по мыловаренному делу.

Фрау Тидеманн проявляла ко мне все больший интерес. Якобы интересуясь моим чтением, она давала мне читать детские романы, которые брала для своего десятилетнего сына, учившегося в школе-интернате. Иногда после ужина она под каким-либо нелепым предлогом заходила ко мне в комнату и заводила со мной разговор. Чаще всего она пыталась выведать, были ли у меня романы с немецкими девушками, и, когда я говорил ей правду, смотрела на меня с недоверчивой улыбкой и грозила пальцем: «Так, мол, я тебе и поверила!» Как-то после обеда она предложила мне прогуляться, и на обратном пути ей удалось затащить меня в пивную. Мы засиделись там допоздна. Хотя я и позволял себе иногда выпить, но до такого состояния никогда еще не напивался. У меня ужасно кружилась голова, и, не владея собой, я склонился на грудь фрау Тидеманн. Очнувшись, я увидел, что сердобольная вдова вытирает мне лицо своим платком. Я тотчас же стал настаивать, чтобы мы вернулись домой. Вдова не дала мне заплатить, рассчиталась сама. Выйдя на улицу, я заметил, что она держится гораздо прямее меня. Вдова взяла меня под руку. Мы пошли неуверенным шагом, задевая прохожих. Было уже за полночь, и народу было не так много. Когда мы переходили улицу, фрау Тидеманн оступилась и, чтобы не упасть, уцепилась за мою шею - благо ростом она была выше меня. И хотя ей удалось сохранить равновесие, она не собиралась меня отпускать и еще крепче сжала в своих объятиях. То ли под действием винных паров, то ли еще отчего, но я вдруг отбросил свою застенчивость, осмелел. Я крепко стиснул ее, - и тридцатилетняя вдовушка жадно впилась

в мои губы. Ее дыхание обожгло меня, и ее пылкая страсть передалась мне, распространяясь, как некий густой сладостный аромат. Прохожие с насмешливыми улыбками желали нам спокойной ночи. И тут вдруг при свете уличного фонаря я увидел шагах в десяти от нас молодую женщину. Я затрепетал от необъяснимого волнения. Истолковав этот трепет по-своему, вдова стала осыпать мои волосы и лицо еще более пламенными поцелуями. Я изо всех сил старался высвободиться из ее объятий, чтобы лучше разглядеть приближавшуюся к нам женщину. Это была она. Всего на мгновение мелькнуло ее лицо передо мной, но в моем затуманенном рассудке словно блеснула молния, - и мысли мои сразу же прояснились. Эта черноглазая женщина в дорогом манто - «мадонна»! Она шла со свойственным ей печальным утомленным видом, ничего, казалось, не замечая вокруг. Наши взгляды встретились. В ее глазах мелькнуло удивление, затем заплясали насмешливые искорки. Я весь съежился, словно меня стегнули хлыстом. Сильное опьянение не помешало мне почувствовать всю трагичность этой встречи и угадать в ее усмешке вынесенный мне приговор. Наконец мне удалось вырваться из цепких рук вдовы. Я бросился вслед за мадонной. Не сознавая, зачем я это делаю и что ей скажу, я добежал до угла. Но ее уже и след простыл. Я простоял несколько минут, осматриваясь. Нигде ни души. И тут как из-под земли передо мной снова выросла фрау Тидеманн.

- Что случилось? Что с тобой? - спросила она и, крепко схватив меня под руку, потащила домой. По дороге она то и дело обнимала меня, прижималась. Но теперь ее горячее дыхание нестерпимо раздражало меня. Однако я не оказывал сопротивления ее натиску. Не привык к этому. Я даже не мог спастись бегством. Не успел бы я сделать и трех шагов, как фрау Тидеманн поймала бы меня. Не буду скрывать: встреча с мадонной перевернула вес мое существо. Отрезвев, я попытался привести свои мысли в порядок. Передо мной неотступно стояли глаза только что встреченной женщины. Но теперь я не знал, в самом ли деле я ее видел или это плод моей разгоряченной винными парами фантазии. И чем больше я раздумывал, тем крепче становилась уверенность в том, что это было видение, навеянное поцелуями и объятиями фрау Тидеманн. Мной овладело непреодолимое желание добраться скорее домой, броситься на кровать и забыться крепким сном. Но вдова отнюдь не собиралась меня отпускать. Ее ласки становились все более пылкими, разгорающаяся страсть придавала ее рукам силу.

На лестнице вдова снова обвила мою шею руками, но мне удалось кое-как от нее освободиться. Перепрыгивая через несколько ступенек, я бросился бежать наверх. Фрау Тидеманн мчалась за

мной, задыхаясь, и лестница громко скрипела под тяжестью ее тела. В то время как я судорожно пытался вставить ключ в замочную скважину, на другом конце коридора показался герр Доппке. Он медленно прохаживался по коридору, дожидаясь, очевидно, нашего прихода. Ни для кого в пансионе не составляло секрета, что он имел определенные виды на состоятельную вдову, которая пылала всем жаром зрелости. Да и сама фрау Тидеманн не была безразличной к искренним чувствам солидного холостяка, который в свои пятьдесят с лишним лет оставался достаточно крепким мужчиной. Поговаривали, что она замышляет опутать его узами брака. Столкнувшись лицом к лицу, фрау Тидеманн и герр Доппке стали выяснять отношения. Тем временем я втиснулся наконец в свою комнату и заперся на ключ. За дверьми долго еще слышался шепот. На нетерпеливые вопросы следовали успокоительные ответы. В конце концов объяснения, видимо, вполне удовлетворили ревнивого поклонника, услышавшего именно то, что он и хотел слышать. Звуки шагов и шепот постепенно стали удаляться по коридору, а немного погодя и совсем затихли.

Не успел я положить голову на подушку, как тут же уснул. Ночью мне снились тяжелые сны. Передо мной стояла женщина в меховом манто. Под ее уничтожающе-презрительным взглядом я весь съежился. Я хотел ей что-то объяснить, но не в силах был открыть рот. Ее черные глаза словно околдовали меня. Понимая, что она вынесла мне приговор, не подлежащий обжалованию, я испытывал глубокое отчаяние. Проснулся я еще затемно. Голова разламывалась от боли. Я зажег лампу, попытался было читать. Но строчки таяли, и сквозь туманную пелену со страниц книги на меня насмешливо и укоризненно смотрели черные глаза. Напрасно говорил я себе, что это всего лишь видение, спокойствие никак не возвращалось. Я оделся и вышел на улицу. Как всегда в это время, веяло сыростью и холодом. На улицах не было никого, кроме разносчиков молока, масла и хлеба. На углу я увидел еще несколько полицейских, которые срывали наклеенные ночью прокламации с революционными призывами. Подобную картину наблюдал я и на других перекрестках. Набережная канала довела меня до Тиргартена. На застывшей глади пруда дремали два лебедя - безжизненные и неподвижные, как игрушечные. На траве газонов и на скамейках поблескивали капли росы. На одной из скамеек я увидел смятую газету - очевидно, здесь ночью сидели, и несколько женских заколок. Я почему-то вновь вспомнил вчерашний вечер. Наверное, и фрау Тидеманн растеряла свои заколки в пивной или по дороге домой. Сейчас она, надо полагать, лежит рядом с герром Доппке и думать не думает, что ей надо незаметно вернуться в свою комнату, пока не проснулась

прислуга.

В тот день я пришел на фабрику необычно рано и приветствовал сторожа как старого знакомого. Меня снедало одно желание - с головой окунуться в дела и таким путем избавиться от хандры, порожденной долгим безделием. Я переходил от котла к котлу и делал подробные записи в своем блокноте. Отметил даже, какая фабрика изготавливает клеймо для мыла. Я видел себя управляющим крупной мыловаренной фабрики и представлял себе, как по всей Турции будет продаваться овальное розовое мыло, завернутое в мягкую ароматную бумагу с надписью: «Мехмет Раиф - Хавран».

К середине дня тоска моя немного рассеялась, и жизнь стала рисоваться мне в более светлых тонах. «Стоит ли терзаться по пустякам? - думал я. - Вечно я витаю в облаках. Пора с этим покончить и обуздать-свое воображение: прежде всего надо поменьше читать романы. Ну что мешает мне, простому честному парню, чувствовать себя счастливым?»

В Хавране меня ждут оливковые рощи, две фабрики и мыловарня, которые перейдут ко мне по наследству от отца. Кроме того, я могу еще заполучить долю двух своих старших сестер - их мужья и так достаточно богатые люди, - и это позволит мне стать влиятельным деловым человеком. Чужеземцев уже изгнали, и мой родной Хавран тоже освобожден национальными войсками. Отец не скрывал своей радости. Каждая строчка его писем была проникнута духом патриотизма. Даже мы, оказавшиеся здесь турки, собрались в посольстве и отпраздновали победу. Время от времени мне удавалось превозмочь робость, и тогда, опираясь на опыт освободителей Анатолии, я давал герру Доппке и безработным отставным офицерам советы, как спасти Германию. Чего же мне унывать? Почему какая-то - пусть даже прекрасная - картина и повествующий о вымышленных событиях роман должны играть решающую роль в моей жизни? Нет, мне надо взять себя в руки! Стать другим человеком!

И все-таки, когда начало вечереть, мною опять овладела беспричинная хандра. Чтобы избежать встречи с фрау Тидеманн, я решил не ужинать в пансионе. Зашел в закусочную, выпил две большие кружки пива. Но несмотря на все мои старания, недавний оптимизм ко мне не возвращался. На сердце лежала свинцовая тяжесть. Чтобы развеяться, я решил пойти погулять. Накрапывал мелкий дождь. Небо было беспросветно серым. Тучи висели так низко, что электрические фонари пятнали их своими алыми отблесками. Я очутился на широком и длинном берлинском проспекте - Курфюрстендам. Здесь было особенно светло, и капли дождя еще за сотни метров от земли приобретали красновато-

оранжевый цвет. По обеим сторонам улицы светились рекламы ресторанов, казино, кинотеатров, кабаре. Под дождем как ни в чем не бывало разгуливали толпы людей. Я медленно брел по улице, предаваясь нелепым бессвязным размышлениям. Сам того не сознавая, я старался отогнать одну-единственную, настойчиво возвращавшуюся ко мне мысль. Я останавливался возле каждой вывески, внимательно разглядывал каждую рекламу. Так несколько раз я прошел из конца в конец весь этот многокилометровый проспект. Потом свернул вправо и побрел в сторону площади Виттенберг.

Перед витринами большого магазина в ярко-желтых ботинках фланировали размалеванные, как женщины, субъекты, бросавшие на прохожих томно-зазывные взгляды. Я посмотрел на часы. Скоро двенадцать. Оказывается, уже очень поздно. Ускорив шаг, я двинулся к площади Ноллендорф. Теперь-то я хорошо знал, куда держу путь. Именно там и именно в это время я встретил мадонну в меховом манто. На площади было безлюдно. На противоположной стороне, около театра, маячила одинокая фигура полицейского. Перейдя площадь, я двинулся по той самой улице, где накануне мы с фрау Тидеманн стояли в обнимку. Мои глаза неволько устремились к столбу: а вдруг из-за него сейчас появится женщина, которую я ищу? Или, может быть, она - только плод моего пьяного воображения? Воздушные замки, которые я строил с самого утра, покачнулись и рухнули. Я снова был далек от реального мира, снова был жалким рабом своих чувств. Со стороны площади показалась женская фигура. Я встал возле подъезда ближайшего дома и замер в ожидании. На этот раз ошибки быть не могло - это была она, женщина в меховом манто. Она шла быстрым, решительным шагом, и звонкий стук ее каблучков, отражаясь от стен домов, разносился отрывистым эхом по пустынной улице. Сердце мое сначала сжалось, затем бешено заколотилось. Я повернулся лицом к двери и сделал вид, будто стараюсь ее открыть. Когда женщина поравнялась со мной, я, чтобы не упасть, прислонился к стене. Она, не останавливаясь, прошла мимо, и я поспешил вслед за ней. Женщина как будто не замечала преследования... Зачем я поджидал ее? Зачем сейчас преследую? А может, это вовсе не она? Почему я вообразил, что женщина, проходившая вчера по этой улице, непременно должна появиться и сегодня? Ни на один из этих вопросов я не находил, ответа. От одной мысли, что она может внезапно обернуться, сердце мое начинало учащенно биться. Глаза мои были потуплены, я ничего не видел, кроме тротуара, - направление я определял только по звуку ее шагов. Я старался смотреть себе под ноги. И вдруг все стихло. Я остановился и опустил голову еще ниже, словно пре-

ступник в ожидании приговора. Но никто ко мне не подошел. Никто не спросил: «Почему вы идете за мной?» Только сейчас я заметил, что улица в этом месте освещена особенно ярко. Я нерешительно поднял голову. В нескольких шагах от меня ярко светилось огнями известное в Берлине кабаре. На огромной вывеске то вспыхивали, то гасли огненно-синие буквы: «Атлантик». Под ними было изображено нечто вроде морских волн. Стоявший в дверях швейцар двухметрового роста в расшитой золотом ливрее и красной фуражке поклонился, приглашая меня войти. Женщина, которую я преследовал, могла исчезнуть только за этой дверью, поэтому я, не колеблясь, спросил швейцара:

- Вы не видели женщину в меховом манто? Она не сюда вошла?

- Сюда! - ответил он с многозначительной улыбкой, снова отвешивая мне поклон.

«Наверное, она завсегдатай этого заведения, - мелькнуло у меня в голове. - Поэтому и приходит каждый вечер в одно и то же время...»

Набрав, как перед прыжком в воду, побольше воздуха, я нырнул в эту дверь. Оставил в гардеробе пальто и вошел в зал.

Внутри было довольно многолюдно. Посреди зала - круглая площадка для танцев, тут же, - оркестр, а по краям высокие укромные ложи. Большинство из них были завешены плотными шторами. Время от времени из-за них выходили парочки, чтобы потанцевать. После танца они снова скрывались в ложах и задергивали за собой шторы. Увидев не занятый еще никем столик, я сел за него и заказал кружку пива. На душе у меня стало спокойнее. Я обвел весь зал медленным взглядом. Вот сейчас я увижу за одним из столиков женщину, из-за которой я потерял сон - мадонну в меховом манто, - рядом с каким-нибудь молодым или старым хлыщом, и это зрелище исцелит меня от моего недуга. Где же она? Около танцевальной площадки ее не было видно. Скорее всего, она - в одной из лож. «Пора бы мне научиться видеть мир таким, каков он есть, - подумал я с горькой улыбкой. - Ведь мне уже двадцать четыре года, а я все еще наивен, как ребенок! Обычный, может быть, даже и не очень точный портрет взбудоражил меня, породил несбыточные надежды. В блеклом женском лице я обнаружил такое богатство мысли, какого хватило бы на целую книгу, приписал его обладательнице добродетели, которых у нее нет и в помине. Она просто одна из многих молодых женщин, занятых погоней за удовольствиями. И ее меховое манто, которым я так восхищался, заработано, наверное, именно здесь».

Я решил внимательно изучить всех посетителей. Шторы то и дело раздвигались, и на танцевальную площадку выходили разгоряченные вином парочки. Мадонны среди них не было. При

каждом удобном случае я заглядывал внутрь лож. Через каких-то полчаса я уже знал всех и убедился, что мадонны нет и среди танцующих.

В сердце мое закралось сомнение. Может быть, и сегодня я ошибся? Мало ли берлинок ходят в таких манто? Лица ее я так и не видел. А вчера вечером я был под хмельком и легко мог обознаться. Прошла какая-то особа, насмешливо улыбнулась, а я вообразил, что это мадонна. Уж не начались ли у меня галлюцинации? Я испугался за себя. Так ведь и недолго свихнуться! Почему этот портрет произвел на меня такое необыкновенно сильное впечатление? Почему я вбил себе в голову, что это та самая женщина, и пошел за ней следом? Нет, нет, надо уходить отсюда и вообще взять себя в руки.

Внезапно в зале погас свет. Только место, где сидел оркестр, было слабо освещено. Площадка для танцев опустела. Послышалась медленная музыка. В голоса виолончелей вплелся тонкий голос скрипки. На подмостках появилась молодая женщина в открытом белом платье. Играя на скрипке, она спустилась в зал и, стоя в кругу света, низким, почти мужским голосом запела одну из модных тогда песенок.

Я тотчас же ее узнал. Все мои сомнения и тысячи всевозможных глупейших предположений отлетели прочь. Меня вновь охватила тоска. Больно сознавать, что она вынуждена зарабатывать себе на жизнь, расточая лживые улыбки и кокетничая с посетителями.

Ту женщину, которая изображена на портрете, я мог представить в любой, пусть даже самой нелицеприятной роли, только не в этой. Какая бездна между гордой и сильной женщиной, созданной моим воображением, и певицей кабаре! Уж лучше бы я увидел ее в компании пьяных мужчин, танцующей или даже целующейся с ними. Это было бы, по крайней мере, проявлением ее собственной воли. Но эта работа не из тех, которые делают по своей охоте. Скрипка в ее руках не совершала никаких чудес. И в голосе, хотя приятном и задушевном, не было ничего особенного. Пела она, подделываясь под пьяного паренька. Не сходившая с ее лица, словно приклеенная улыбка, казалось, ждала только удобного случая, чтобы мгновенно исчезнуть. Вот она спела несколько игривых куплетов возле одного столика - и направляется к другому. И тут только ее лицо приобретает то же задумчивое выражение, что и на автопортрете: спокойное, естественное, без тени вымученной улыбки, которую мне так горько видеть.

Неожиданно какой-то подвыпивший молодой мужчина привстал и поцеловал ее обнаженную спину. Она вся передернулась, как от змеиного укуса, но тут же овладела собой и даже улыбну-

лась, словно говоря этому наглецу: «Как это мило с вашей стороны». Заодно она успокоила взглядом и его ревнивую даму; мол, что поделаешь, таковы мужчины.

После каждой песни в зале раздавались хлопки. Певица кивала дирижеру оркестра, чтобы он играл новую вещь. И снова, неумело водя смычком по струнам скрипки, пела своим низким грудным голосом. В длинном, до пола, белом платье она скользила от стола к столу, а иногда останавливалась у задернутых штор.

Чем ближе она подходила к моему столику, тем больше я волновался. Как себя вести? Как посмотреть ей в лицо? Но, право, смешно предполагать, что она узнает человека, которого мельком видела в темноте на улице. Я для нее один из многочисленных молодых людей, которые приходят сюда развлечься, найти себе подружку. И все-таки я невольно опустил голову, когда она приблизилась ко мне. Из-под запыленного подола длинного платья выглядывали открытые белые туфельки, надетые на босу ногу, и в пронзительно белом свете прожектора я разглядел нежно-розовый цвет ее ног. Я вздрогнул, будто увидел все ее тело обнаженным, и невольно поднял глаза, а она остановила на мне пристальный взгляд. В этот миг она не пела, лишь водила смычком по струнам. Лицо ее было серьезно. Неожиданно она приветствовала меня глазами. В этом приветствии не было ничего неестественно-преувеличенного, никакой фривольности или кокетства ; - Так встречают только давнишнего хорошего друга. Она лишь закрыла и тотчас же открыла глаза, - и этого было достаточно. Затем она улыбнулась искренней, чистой улыбкой, провела смычком по струнам и, простившись со мной на этот раз не только взглядом, но и кивком, направилась к соседнему столику.

На меня вдруг нахлынуло желание заключить ее в свои объятия, поцеловать. Не помню, чтобы когда-нибудь в жизни я чувствовал себя таким счастливым, чтобы сердце мое было так распахнуто добру. Как мало надо для того, чтобы один человек сделал другого безгранично счастливым! Только дружески поприветствовать его и улыбнуться. В тот миг я не мог пожелать ничего большего. Провожая ее глазами, я тихо бормотал: «Благодарю тебя, благодарю...» Стало быть, я не ошибся. Все мои предположения подтвердились. Она именно такова, какой рисовало ее мое воображение.

Но тут сердце кольнуло сомнение: уж не приняла ли она меня за кого-либо другого? Или, может, ей просто показалось смутно знакомым мое лицо? Но ведь она не проявила ни колебания, ни смущения. Глаза ее полны были уверенности. Я сидел со спокойной и даже, пожалуй, с самодовольной улыбкой и неотступно следовал взглядом за певицей. Ее не очень длинные, вьющиеся

темно-каштановые волосы едва прикрывали шею. Стан ее колыхался при каждом движении оголенных до плеч рук со смычком, и на спине при этом собиралась и расправлялась тоненькая складка.

Закончив последнюю песню, она быстро ушла. В зале опять вспыхнул свет. Я продолжал сидеть, полный бездумной радости. Потом вдруг спросил себя: «Что же делать? Выйти и подождать ее у входа? Но ведь мы незнакомы. Если я ей скажу: «Разрешите вас проводить», что она обо мне подумает? Ну и хорош же я буду, отблагодарив ее так пошло за незначительный, но такой милый знак внимания!..»

Благороднее всего, пожалуй, удалиться, а завтра прийти опять. Возможно, я постепенно завоюю ее доверие. А для первого раза и этого больше чем достаточно. Я с детства привык бережно хранить маленькие радости, которые посылала мне судьба. Из-за этого я не использовал множества благоприятных возможностей, да и сейчас опасаюсь спугнуть удачу слишком дерзкими желаниями.

Я стал искать глазами гарсона, чтобы расплатиться. И тут опять увидел ее возле оркестра. В руках у нее уже не было скрипки. Куда же она направляется? Я огляделся по сторонам - и тут вдруг понял, что она идет к моему столику. С той же дружеской улыбкой она остановилась и протянула мне руку:

- Как поживаете?

Я не сразу пришел в себя, даже не догадался встать.

- Спасибо… Хорошо!

Она села напротив меня, тряхнула головой, откинула волосы со щек и, внимательно посмотрев на меня, спросила:

- Вы не обиделись на меня?

Я совсем опешил. Несколько мгновений, теряясь в догадках, не знал, что и ответить.

- Нет, - наконец выдавил я. - По-моему, для этого не было причин.

Голос ее показался мне знакомым. Целыми днями простаивая перед ее портретом, я изучил ее лицо, если можно так сказать, наизусть, находил в нем тайный смысл, не замечаемый другими. Нет ничего удивительного, что образ мадонны глубоко запечатлелся в моей памяти. Но голос? Где и когда мог я его слышать? Может быть, в далеком прошлом, в раннем детстве? Или он знаком мне по мечтам?

Я встряхнул головой, стараясь отделаться от этих мыслей. Нелепо предаваться им, когда она сидит напротив меня.

Женщина заговорила снова:

- Так вы не обиделись? Почему же вы больше ни разу не пришли?

Вот тебе и на! Она и в самом деле принимает меня за кого-то другого. У меня так и вертелся на языке вопрос: «Откуда вы меня знаете?» Останавливал только страх, что, осознав свою ошибку, она тотчас поднимется и уйдет. Пусть длится прекрасный сон. Я не вправе обрывать его на половине, пусть даже ради торжества истины.

Так и не дождавшись от меня ответа, женщина задала мне еще вопрос:

- Ну, а от матери-то вы письма получаете? Я вскочил со стула.

- О господи! Так это вы! - воскликнул я, схватив ее за руки.

Наконец-то все прояснилось, и я тотчас понял, почему ее голос показался мне знакомым. Она звонко рассмеялась:

- Какой же вы чудак!

И ее смех был мне хорошо знаком. Почему же я не узнал ее сразу? Странно, что портрет заслонил собою образ реальной женщины.

- Но вы совсем не походили тогда на свой портрет... - промямлил я, оправдываясь.

- Как вы можете знать? Вы даже не взглянули на меня.

- Нет, почему же? Я смотрел.

- Может быть, и смотрели, но только старались меня не видеть.

С этими словами она высвободила свои руки.

- Я так и не сказала своим товарищам, что вы меня не узнали. А то они посмеялись бы над вами!

- Очень вам признателен!

Она задумалась. По лбу ее пробежало облачко.

- И вы по-прежнему хотите, чтобы у вас была такая мать? - спросила она вдруг серьезным тоном.

Я не сразу понял, что она хочет сказать. Но, когда наконец догадался, поспешил ответить:

- Конечно... Конечно... Очень даже хочу.

- Вы и тогда так сказали.

- Вполне возможно...

Она опять рассмеялась:

- Но ведь я не гожусь вам в матери. Разве что могла бы быть вашей старшей сестрой!

- Сколько же вам лет?

- О таких вещах дам не спрашивают. Ну, да уж так и быть, скажу. Двадцать шесть! А вам?

- Двадцать четыре.

- Ну вот, видите! Вполне могу быть вам старшей сестрой.

- Да.

Воцарилось молчание. А мне так много хотелось ей сказать. Выложить все, что накопилось на душе. Но в голову не приходило ничего хорошего. Она сидела молча, глядя перед собой. Одна рука ее покоилась на белой скатерти. Тонкие длинные пальцы с покрасневшими, будто от холода, кончиками нервно вздрагивали. Тут я припомнил, что руки у нее и в самом деле были холодными. Я решил зацепиться хотя бы за эту мысль.

- У вас очень холодные руки, - сказал я.

- Что ж, согрейте их.

Я заглянул в ее властные, решительные глаза. Она, видимо, не находила ничего дурного в том, чтобы протянуть свои руки мужчине, с которым впервые разговаривает. В голову мне снова полезли всевозможные сомнения. Стараясь от них избавиться, я перевел разговор в другое русло.

- Право, мне совестно, что я не узнал вас. На выставке вы были такая веселая, я бы даже рискнул сказать, насмешливая, полная противоположность портрету… Подстриженные волосы. Короткое узкое платье. И походка быстрая, стремительная. Трудно было угадать в вас серьезную, задумчивую и даже немного грустную мадонну, изображенную на портрете. И все-таки странно, что я вас не узнал… Вероятно, я витал в облаках.

- Да, похоже, что так. Я приметила вас в первый же день, когда вы появились на выставке. Вы ходили со скучающим видом и вдруг остановились перед моим портретом. Вы так внимательно и долго его рассматривали, что возбудили всеобщее любопытство; признаться, я подумала вначале, что мой портрет напоминает вам кого-то из близких. Вы приходили каждый день. Естественно, что я заинтересовалась. Несколько раз я становилась рядом и вместе с вами рассматривала свою работу. Но вы ничего и никого не замечали. Если и смотрели иногда на особу, нарушавшую ваше одиночество, то все равно не узнавали. В этой вашей отрешенности была какая-то огромная притягательная сила…

И вот однажды я решила заговорить с вами. Заинтересовалась вами не только я, но и мои коллеги-художники. Они тоже подзадоривали меня… Но лучше б я не затевала того разговора. С тех пор вы ни разу не появлялись на выставке.

- Я боялся стать посмешищем, - проговорил я и тут же пожалел о своем признании. Мои слова могли ее обидеть. Но опасения оказались напрасными.

- Это вас оправдывает. - Она внимательно посмотрела на меня, как бы желая убедиться, тот ли я человек, за которого она меня принимает, и спросила:

- Вы здесь один?

- Что вы имеете в виду?

- Ну, что у вас здесь никого нет… Что вы одиноки… Духовно одиноки… Бывает такое состояние, - понимаете?

- Понимаю… Все понимаю… Да, я один… Совершенно один… И не только здесь, а вообще на свете… Я одинок с самого детства…

- И я одинока, - произнесла она грустно и вдруг сама взяла меня за руки. - Одинока так, что впору повеситься. Одинока, как бездомная собака.

Она крепко сжала мои пальцы и, чуть приподняв их, резким движением опустила на стол.

- Мы могли бы с вами подружиться, - объявила вдруг она. - Вы только сейчас со мной познакомились, но я вас знаю уже давно, внимательно наблюдала за вами дней пятнадцать - двадцать. В вас есть что-то непохожее на других… Да, мы могли бы с вами подружиться.

Я недоуменно поглядел на нее. Что она хочет сказать? Что означает подобное предложение? Я плохо знаю женщин. У меня нет никакого опыта в общении с ними.

Она, очевидно, угадала мои мысли и, опасаясь, что я истолкую ее превратно, поспешила сказать:

- Только не уподобляйтесь другим мужчинам, не вкладывайте в мои слова другой смысл. Я всегда говорю прямо, по-мужски. У меня вообще мужской характер. Может быть, поэтому я и одинока…

Окинув меня изучающим взором, она вдруг добавила:

- А в вас, по-моему, есть что-то женское. Я только сейчас заметила… Наверное, именно это меня и притягивает. Правда, в вас есть что-то от девушки…

Подобные слова мне не раз приходилось слышать от отца и матери. Но горько было слышать их от женщины, с которой я говорю впервые.

- Никогда не забуду, - продолжала она, - какой растерянный вид был у вас вчера вечером! Невозможно удержаться от смеха. Вы вырывались, как невинная девушка, отстаивающая свою честь. Но от фрау Тиде-манн не так-то легко отделаться.

- Вы ее знаете? - удивился я.

- Конечно. Она мне родня. Двоюродная сестра по матери. Но сейчас мы в ссоре. Моя мать не хочет даже ее видеть. Возмущена ее поведением. Фрау Тидеманн ведь была замужем за адвокатом. Он погиб на войне, и теперь она ведет себя, по выражению моей матери, «непристойно». Спаслись ли вы от нее? Где вы, кстати, с ней познакомились?

- Мы живем в одном пансионе. А спасла меня только встреча с жильцом нашего пансиона - герром Доппке. У него на нее кое-какие виды.

- Хочет на ней жениться? Пусть женится, - сухо сказала она. По ее тону я понял, что эта тема ее не интересует. Снова наступило молчание. Мы оба незаметно изучали друг друга и время от времени обменивались сочувственными улыбками. Каждый как бы говорил другому: «Вы мне нравитесь!»

- Значит, и у вас тоже есть мать? - наконец нарушил я молчание.

- Как и у вас!

Мне стало стыдно, что я задал такой глупый вопрос. Но она тут же пришла мне на выручку:

- Вы здесь впервые?

- Да... Вообще-то я не хожу в подобные места... Но сегодня вечером...

- Что сегодня вечером?..

- Я пришел сюда вместе с вами, - набравшись смелости, выпалил я одним духом.

- Так это вы меня преследовали до самых дверей? - удивилась она.

- Да... Значит, вы заметили?

- Конечно... Какая женщина этого не заметит?

- Но вы ни разу не оглянулись.

- А я никогда не оглядываюсь. - Помолчав немного, она с улыбкой продолжала: - У меня есть своеобразная игра. Когда кто-нибудь идет за мной, то я стараюсь подавить любопытство, не оборачиваюсь и в то же время даю полную свободу фантазии. «Кто он? - думаю я. - Молодой или старик, богатый князь или бедный студент, а может быть, просто забулдыга?» По звуку шагов я пытаюсь определить, кто же мой преследователь, и, пока разгадываю эту загадку, незаметно дохожу до места. Значит, это были вы? А я было подумала, судя по вашей нерешительной походке, что за мной идет пожилой женатый мужчина. Заглянув мне в глаза, она вдруг спросила:

- Вы меня поджидали?

- Да.

- Почему вы решили, что я буду идти той же дорогой, что и вчера? Или вы знали, что я здесь работаю?

- Нет. Откуда мне было знать? Я же вам говорил... А может, только собирался сказать... Сам не заметил, как оказался там в тот же час... А когда вы появились, я отвернулся. Боялся, что вы меня узнаете.

- Ну, что ж, пора домой. Поговорим по дороге... Заметив, очевидно, мою растерянность, она спросила:

- Вы не хотите проводить меня? Я вскочил как ужаленный.

- Не так поспешно, мой друг, - рассмеялась она. - Я должна еще переодеться. Подождите меня минут через пять около выхода!

Она поднялась и, подобрав рукой подол платья, пересекла зал. Прежде чем скрыться в дверях, она оглянулась и снова подмигнула мне, как старинному другу.

Я подозвал официанта, попросил счет. Никогда в жизни не чувствовал я себя таким веселым и храбрым. Пока официант выстраивал на листке блокнота столбик цифр, меня так и подмывало сказать ему: «Погляди на меня, дуралей! Неужели не видишь, как я счастлив?» Мне хотелось смеяться, приветствовать всех оставшихся еще в зале посетителей и оркестрантов. Я был готов обнять, горячо расцеловать всех, как самых близких друзей.

Поднявшись, я широким, размашистым шагом уверенного в себе человека направился к выходу. В гардеробе я оставил женщине, подавшей мне пальто, целую марку, хотя подобное мотовство мне было вовсе не свойственно. Неоновая вывеска «Атлантик» над входом уже погасла. Невидимой стала и линия морских волн под буквами. Небо было совершенно чистым, а на самом его краю, там, где заходит обычно солнце, виднелся тоненький ломтик полумесяца.

- Долго вы меня ждали? - услышал я вдруг за спиной женский голос.

- Нет. Только что вышел, - сказал я и повернулся. Она стояла передо мной, словно в нерешительности.

- Вы, кажется, и впрямь хороший человек, - произнесла она тихим голосом, почти не шевеля губами.

При ее появлении моя смелость тотчас же испарилась. Желание благодарить ее, целовать ей руки тотчас же прошло, - и у меня хватило силы лишь выдавить из себя:

- Не знаю...

Она без долгих церемоний взяла меня под руку и, потрепав свободной рукой, как маленького ребенка, по подбородку, мягко сказала:

- Ей-богу, вы застенчивы, как девушка! Покраснев, я отвел взгляд. Свобода ее обращения

продолжала меня смущать. Видимо, почувствовав это, она решила вести себя сдержанней, перестала гладить мне подбородок и отпустила мой локоть. Я был поражен, увидев на лице ее некоторую растерянность, пожалуй, даже смущение. От ее шеи по щекам распространялся легкий румянец. Полузакрытые глаза избегали моего взгляда. «Что с ней? - подумал я. - Она переменилась до неузнаваемости. Совсем другая женщина».

- Уж такая я есть! - сказала она, будто прочитав мои мысли. - Странностей у меня хватает. Если вы решитесь со мной дружить,

вам придется с этим примириться так же, как и с моими капризами. Друзьям со мной нелегко.

Она помолчала, потом, словно пожалев о собственной откровенности, добавила совсем другим, почти грубым голосом:

- Не знаю, захотите ли вы со мной дружить. Я женщина независимая. Ни в ком не нуждаюсь. Никому не хочу быть обязанной. Так что смотрите.

- Я постараюсь вас понять, - произнес я дрожащим голосом.

Некоторое время мы шли молча. Затем она снова взяла меня под руку.

- Значит, вы постараетесь меня понять... - сказала она без всякого выражения, как обычно говорят о вещах самых обыденных. - Похвальное намерение. Боюсь только, что оно неосуществимо. Может быть, я и смогу быть хорошим другом. Время покажет. Только не обижайтесь по пустякам.

Она остановилась вдруг и погрозила мне пальцем, как непослушному ребенку:

- И запомните, если вы начнете чего-то домогаться, требовать, между нами все кончено! Я не допущу никаких посягательств... Знаете, почему я презираю мужчин? - спросил'а она запальчиво, как будто бросая вызов неведомому врагу. - За то, что они считают своим законным правом требовать слишком многого. Поймите меня правильно! Эти требования не обязательно облекаются в слова. Многозначительные взгляды, улыбки, жесты - все это тоже может выражать требование. Нужно быть слепой, чтобы не замечать глупой самоуверенности мужчин. Видеть, как у них вытягиваются лица при малейшем отпоре женщин, уже достаточно, чтобы понять всю их наглость. Они воображают себя охотниками, а нас добычей, - и никак не могут отказаться от этого представления. Наш долг, по их мнению, быть естественными и покорными. Ни в чем не отказывать мужчинам. Своих желаний нам не позволено иметь, мы не вправе поступать так, как нам хочется. А я презираю это глупое мужское высокомерие. Можете ли вы меня понять? Мне кажется, мы могли бы стать с вами друзьями, потому что в вас нет этой дурацкой самонадеянности... А впрочем, не знаю. Волки, бывает, прячутся и под овечьей шкурой!..

Она шла быстро летящей походкой и продолжала говорить, энергично жестикулируя руками, то опуская, то поднимая глаза. После каждой фразы она делала паузы, такие долгие, что казалось, будто она уже высказала все, что хотела. Оробев, я молча шел рядом. Где-то около Тиргартена мы остановились перед трехэтажным каменным домом.

- Вот я и пришла... - объявила она. - Здесь я живу. Вместе с матерью... Завтра, надеюсь, мы продолжим наш разговор... В ка-

баре больше не приходите. Я не хочу, чтобы вы там меня видели. Можете записать очко в свою пользу. Встретимся днем... Вместе побродим... У меня есть излюбленные места в Берлине. Может быть, они и вам понравятся... Ну, а теперь - спокойной ночи!.. Одну минутку: я ведь до сих пор не знаю вашего имени...

- Раиф...

- Раиф? И это все?

- Раиф Хатып-заде...

- Ну, этого мне не запомнить. Да и не выговорить. Уж лучше я буду вас звать просто Раиф. Не возражаете?

- Мне так еще приятнее!

- А меня можете звать просто Марией. Я же вам сказала, что не люблю оставаться в долгу!

Она засмеялась, и на ее так часто меняющемся лице снова появилось доброе дружеское выражение. Она пожала мне руку, мягким, словно извиняющимся голосом еще раз пожелала спокойной ночи. Потом открыла сумочку, достала из нее ключ и, резко повернувшись, направилась к двери. Я медленно побрел прочь. Но не успел я сделать и десяти шагов, как услышал за спиной ее голос:

- Раиф!

Я обернулся и застыл в ожидании.

- Подойдите сюда!

С трудом сдерживая смех, она произнесла с подчеркнутой любезностью:

- Я счастлива, что мне так быстро представился случай обратиться к вам по имени!

Она стояла на верхних ступеньках лестницы, и я вынужден был смотреть на нее снизу вверх. В полутьме ее лицо было едва различимо.

- Значит, вы уходите? - спросила она серьезным голосом, в котором, однако, угадывался сдерживаемый смех.

С бьющимся сердцем я сделал шаг вперед, не зная, радоваться или огорчаться. Было даже странно подумать, что моя надежда может осуществиться.

- А вы хотите, чтобы я остался? - спросил я. Она спустилась на несколько ступенек, и при свете

уличного фонаря я смог разглядеть ее лицо. В ее черных глазах искрилась лукавая усмешка.

- Вы так и не догадываетесь, почему я вас окликнула?

Догадываюсь, догадываюсь! Догадываюсь! Я готов был броситься к ней и заключить ее в свои объятия. Но меня удержало какое-то сильное чувство - то ли смятение, то ли страх, не могу сказать. Лицо мое вспыхнуло. Нет, нет! Я должен подавить этот неожидан-

ный порыв!

- Что с вами? - спросила она, проводя ладонью по моему лицу. - У вас такой вид, как будто вы сейчас расплачетесь. Вам в самом деле нужна мать, а не старшая сестра. Вы ведь уже уходите?

- Да!

- В «Атлантике» мы с вами больше не увидимся… так мы договорились?

- Так… Мы встретимся днем.

- Да. Но где?

Я растерянно моргал глазами. Об этом-то я и не подумал!

- Так вы поэтому меня окликнули?

- Конечно… Вы и впрямь не похожи на других мужчин. Те обычно стараются потуже завязать узел. А вы уходите, даже не договорившись о встрече. Или вы уверены, что всегда сможете отыскать меня на том же самом месте?

Ее слова прогнали все сомнения. Меня отнюдь не прельщала мысль о легком, бездумном романе. Нет, нет, пусть уж лучше мадонна в меховом манто считает меня теленком. Но и мысль о том, что она будет потом смеяться над моей робостью и простодушием, была несносна. Пережить такое тяжело - -я отвернусь тогда от всех людей и, лишившись всякой надежды, замкнусь в себе.

Теперь же сердце мое успокоилось. Я стыдился своих унизительных подозрений и преисполнен был благодарности к этой женщине, избавившей меня от них.

- Вы необыкновенный человек! - воскликнул я с неожиданной для меня смелостью.

- Будьте осторожны в своих выводах. Вы легко можете ошибиться.

Я прильнул губами к ее руке. Глаза мои слегка увлажнились. Она смотрела на меня еще более ласковым, чем несколько минут назад, словно обнимающим, взглядом. Вот оно, само счастье, передо мной! Сердце мое замерло. И вдруг она резким движением отдернула руку.

- А вы где живете?

- На улице Лютцов…

- Это недалеко! Приходите сюда завтра, во второй половине дня.

- Как мне найти вашу квартиру?

- Я буду поджидать у окна. Вам нет нужды подниматься наверх!

Она повернула уже вставленный в скважину ключ и вошла в дом. Я быстро зашагал к себе домой, в пансион, ощущая необыкновенную легкость во всем теле. Перед моими глазами все еще стояло ее лицо. Я бормотал себе под нос что-то невнятное. И вдруг поймал себя на том, что повторяю ее имя, присоединяя к нему

самые нежные эпитеты. Не в силах сдержать переполнявшую меня радость, я засмеялся тихим, отрывистым смехом. Когда я подошел к пансиону, край неба уже посветлел. В то утро - впервые, вероятно, с самого детства - я лег спать без сожалений о бесцельности и пустоте моей жизни. Впервые меня не терзала обычная мысль: «Вот и миновал день. Так же пройдут все последующие. Меня не ждет ничего хорошего».

На следующий день я не пошел на фабрику. В половине третьего я уже стоял возле дома Марии Пудер. «Не слишком ли я рано пришел?» - подумал я. Ведь накануне вечером она работала и не спала из-за меня почти всю ночь. Сердце мое переполняла неизъяснимая нежность. Я представлял себе, как она лежит, разметавшись на постели. Волосы рассыпались по подушке, грудь вздымается мерно и спокойно. Я был счастлив, как никогда в жизни.

Весь накопившийся в моей душе интерес к людям, вся нерастраченная любовь собрались воедино и сосредоточились на этой женщине. Я знал, что мои суждения о ней основываются лишь на предположениях и догадках. И в то же время был твердо убежден в их безошибочности.

Вся моя жизнь прошла в ожидании встречи с этой женщиной. Всем существом стремился я найти свой идеал среди людей, внимательно изучал каждого и теперь не мог даже допустить, что мои обостренные чувства могут меня обмануть. До сих пор интуиция меня никогда не подводила. Чувства выносили суждения о людях, - и как ни опровергали впоследствии это суждение рассудок и опыт, - первоначальное впечатление большей частью оправдывалось. Бывало иногда, что у меня складывалось отрицательное мнение о человеке, который поначалу производил самое хорошее впечатление. «Ага, - мысленно злорадствовал я, - стало быть, первое впечатление обманчиво!» Но проходило время, и я вынужден был признать справедливость первого впечатления.

Я чувствовал, что не могу жить без Марии Пудер. На первых порах я сам был удивлен. Только что узнал человека - и вдруг оказывается, что не могу без него жить. Но ведь так обычно и происходит. Потребность в какой-либо вещи возникает лишь после знакомства с нею. Вся моя жизнь представлялась бессмысленной и ничтожной именно потому, что не удавалось встретить никого, кто был бы мне по-настоящему близок. Теперь казалось нелепым отчуждение от всех людей из-за боязни, что они могут догадаться о моих переживаниях. Временами в мою душу закрадывалось подозрение, что неудовлетворенность, усталость и разочарование - симптомы какого-то психического недуга. Два часа, проведенные за чтением интересного романа, нередко оказывались более значительными, чем два года жизни. Размышляя

об этом, я с особой силой чувствовал всю гнетущую никчемность человеческого бытия и невольно впадал в полное отчаяние.

Но вот все переменилось. С тех пор, как я увидел портрет этой женщины, прошло всего несколько недель, - но за это время я перечувствовал больше, чем за всю предыдущую жизнь. Каждый мой день, каждый час - -даже, когда я сплю, - исполнен теперь для меня глубокого смысла. Оживает не только мое тело, которое, казалось, существовало лишь для ощущения усталости, но и душа. Все, что до сих пор таилось где-то внутри, никак не проявляясь, - вдруг пробудилось, пробилось наружу, открыв передо мной совершенно новый, необычайно интересный и привлекательный мир. Мало того, что Мария Пудер заставила меня поверить в свои душевные силы, она - первый человек из всех, попадавшихся мне на жизненном пути, щедро наделенный богатством души. Душа, разумеется, есть у всех, но сознают это далеко не все; большинство людей с самого рождения и до конца дней своих даже не подозревают о богатстве и глубине своего внутреннего мира... Этот внутренний мир раскрывается, только когда мы встречаем подобных себе по духу, - и тогда все сухие доводы рассудка, все наши расчеты оказываются бесплодными. Именно тогда и начинается наша другая жизнь - духовная. Все сомнения, все страхи рассыпаются в прах - и две души, отметая преграды, устремляются друг другу навстречу.

Я не узнавал самого себя. Куда подевалась обычная моя скованность, застенчивость? Перед этой женщиной я готов был раскрыть все свои достоинства и недостатки, свои слабые и сильные стороны, вплоть до незначительных мелочей. Пусть она видит меня таким, каков я есть. Как много надо ей рассказать! Я молчалив по природе и, что бы во мне ни происходило, всегда думал: «Зачем об этом говорить, какой толк?» До сих пор, полагаясь только на интуицию, часто без всяких на то оснований я говорил о каждом человеке: «Этот меня не поймет!» И вот теперь, снова полагаясь на интуицию, я уверенно заявляю: «Она меня поймет!..-»

В этих размышлениях я медленно добрел до канала, окаймляющего Тиргартен с южной стороны. С моста отчетливо виднелся дом Марии. Было около трех. За сверкавшими на солнце стеклами ее окон трудно было что-либо разглядеть. Облокотясь о перила, я смотрел на застывшую гладь канала. Снова стал накрапывать дождик - и вода покрылась мелкой рябью. С огромной баржи перегружали на повозки овощи и фрукты. С деревьев, которые росли вдоль берега, один за другим срывались жухлые листья и, кружась в воздухе, падали в воду. Господи! До чего же прекрасен этот пасмурный день! Как приятно полной грудью вдыхать сы-

рой, но такой чистый и свежий воздух! Какое счастье жить на свете! Любоваться мельчайшими переменами, происходящими в природе, следить за ее вечным неумолимо логичным круговоротом! Радоваться, что твоя жизнь полна, как ничья другая, а самое главное - знать, что есть человек, которому можно все это рассказать! Может ли быть на свете большее счастье? Рука об руку бродить с ней по мокрым улицам, сидеть на скамейке где-нибудь в укромном уголке, смотреть друг другу в глаза. Я мог бы рассказать ей многое, в чем никогда не признавался даже самому себе. Мысли проносились в моей голове с такой быстротой, что я не успевал в них разобраться. Как мне хотелось взять ее за руки, согреть ее холодные, с покрасневшими кончиками пальцы! Одно слово - и мы станем бесконечно близкими друг другу.

Минуло еще полчаса. Интересно, проснулась Мария или нет? Может быть, все-таки подойти к ее дому? Она ведь сказала, что будет сидеть у окна. Догадается ли, что я жду ее именно здесь? «А вдруг она вообще не придет?» - усомнился я и тотчас же поспешил подавить сомнение. Думать так - значит выразить ей несправедливое недоверие. Это все равно что рушить построенный собственными руками дом. Но вопреки всем моим усилиям страх все больше одолевал меня. А вдруг она заболела? Или у нее какое-нибудь срочное дело и ей пришлось уйти? Что-нибудь да должно случиться. Просто невероятно, чтобы счастье досталось так легко!

Беспокойство мое с каждой минутой возрастало, сердце билось все чаще. То, что произошло вчера, случается раз в жизни. Ожидать повторения подобного - значит требовать невозможного. Я судорожно старался подыскать какой-нибудь утешительный довод. Может быть, такой слишком уж внезапный и резкий поворот ничего хорошего мне не сулит? Не лучше ли вернуться к прежнему образу жизни, пусть и однообразному, но зато тихому и спокойному? Повернув голову, я неожиданно увидел ее. Совсем близко. Одета она была в легкое пальто, темно-синий берет и туфли на низком каблуке. Лицо ее светилось. Подойдя ко мне, она протянула руку:

- Вот вы где меня ждете! И давно?

- Около часа, - ответил я дрожащим от волнения голосом.

Ей, очевидно, почудилось в моем ответе нечто вроде упрека, и она полушутя-полусерьезно сказала:

- Сами, дорогой мой, виноваты! Я жду вас уже полтора часа! Откуда мне было знать, что вам понравится это романтическое место? Я вас заметила случайно.

«Она ждала меня! Стало быть, я для нее кое-что значу!»

- Благодарю вас! - прошептал я, заглядывая ей в глаза.

- За что? - спросила она и, не дожидаясь ответа, взяла меня под руку: - Пойдемте же!

Я шел, приноравливаясь к ее торопливым шагам. Спросить, куда мы идем, я не решался, и мы оба молчали. Это затянувшееся молчание мне даже нравилось, но все же я испытывал некоторую неловкость. Несколько минут тому назад в моем уме теснились мысли, одна другой прекраснее и значительней. И вдруг они испарились, и я не мог найти никакой зацепки для разговора. Я исподтишка взглянул на свою спутницу. Она шла с потупленным взглядом, не подавая вида, что замечает мою скованность и волнение, - только глубокое спокойствие и улыбка, затаившаяся в уголках губ. Левая рука ее покоилась на моей руке. Указательный палец, казалось, направлен был на какую-то точку впереди.

Когда через несколько минут я снова бросил на нее взгляд, ее густые, широко раздвинутые брови были приподняты, лоб наморщен. На веках синели тонкие прожилки. Длинные черные ресницы слегка подрагивали под тяжестью повисших на них блестящих дождинок. Намокли и пряди волос, выбившиеся из-под берета.

- Что вы так внимательно меня разглядываете? - спросила она.

Этот вопрос зрел и в моей голове. В первый раз я так бесцеремонно рассматриваю женщину. И что еще более странно - продолжаю смотреть на нее и после того, как она задала мне свой вопрос. Я был сам удивлен своей смелостью.

- Вам это неприятно? - ответил я вопросом на вопрос.

- Я не потому спросила! Напротив, мне это приятно.

Глядя в ее черные глаза, я спросил: -

- Скажите, вы немка?

- Да! Почему вы спрашиваете?

- Потому, что вы не блондинка и глаза у вас не голубые.

- Не все немки - блондинки, - ответила она, как-то неопределенно улыбнувшись, и после некоторого колебания добавила: - Отец мой - еврей. Мать - немка. Кстати, она не блондинка.

- Значит, вы еврейка?

- Да… Вы, надеюсь, не антисемит?

- Нет, что вы! У нас в Турции этого вообще нет. Просто я не думал…

- Да, я еврейка. Отец мой родом из Праги. Он принял католичество еще до моего рождения…

- Значит, вы христианка?

- Нет… Я никакой религии не исповедую!

Она замолчала. Я ни о чем ее больше не спрашивал. Мы медленно шли к окраине города. Постепенно мною стало овладевать любопытство: куда же мы направляемся? Погода, во всяком слу-

чае, не благоприятствовала загородной прогулке. Дождь продолжал накрапывать.

- Куда же мы идем? - спросила наконец сама Мария.

- Не знаю!

- Разве это вас не интересует?

- Я доверился вам… Куда хотите - туда и пойдем! Она обернулась ко мне. На бледном ее лице, словно

росинки на белом цветке, поблескивали капельки дождя.

- Какой же вы послушный! Неужели у вас нет своих стремлений и своих желаний?

- Вы же запретили мне высказывать свои желания! - напомнил я ей собственные ее слова.

Она промолчала.

- Вы говорили не всерьез? Или, может быть, уже изменили свое мнение?

- Нет! Нет! - решительно возразила она. - Я остаюсь при том же мнении…

Она снова задумалась. Мы шли вдоль высокой решетчатой ограды.

- Не зайти ли нам сюда? - замедлив шаг, предложила она.

- А что здесь?

- Ботанический сад.

- Как вам угодно…

- В таком случае давайте зайдем… Очень люблю этот парк, особенно в дождливую погоду.

В парке никого, кроме нас, не было. Мы долго бродили по усыпанным желтым песком дорожкам. Несмотря на осень, листва еще не опала. На каменистых берегах небольших прудов росли всевозможные травы и цветы. Поверхность воды устилали огромные листья. В высоких оранжереях теснились экзотические растения. Там же можно было видеть диковинные деревья с толстыми стволами и маленькими листьями.

- Это самое красивое место в Берлине, - сказала Мария. - В это время года здесь обычно почти никого, не бывает. Эти деревца, уроженцы далеких стран, навевают на меня грусть. Нелегко им жить здесь, на чужой земле, хотя их и окружают всяческими заботами. Небо над Берлином бывает ясным не более ста дней в году, а остальные двести шестьдесят пять оно затянуто тучами. Искусственные солнца не могут удовлетворить потребность этих деревьев в тепле и свете. Они не живут, а влачат жалкое существование. Ну не издевательство ли это - ради развлечения нескольких скучающих зевак перенести живой организм из родной, привычной среды в чуждые ему условия.

- Но, простите, ведь и вас тоже можно назвать зевакой.

- Да. И каждый раз, когда я прихожу сюда, мое сердце наполняется печалью…

- Зачем же вы сюда ходите?

- Сама не знаю.

Она села на мокрую скамейку. Я - рядом.

- Глядя на эти растения, я задумываюсь и о себе, - продолжала она, смахивая капли дождя. - Может быть, мои далекие предки жили в тех же краях, что и эти диковинные цветы и деревья. И нас тоже разбросала судьба по свету, как эти растения. Но вас это вряд ли интересует. Сказать откровенно, и меня это не так уж сильно занимает. Просто я люблю поразмышлять, а тут, несомненно, есть повод для размышлений. Понимаете ли, я живу не столько в реальном мире, сколько в воображаемом. Жизнь представляется мне лишь мрачным сном. Вы, должно быть, смотрите с презрением на мою работу в «Атлантике», она меня вовсе не тяготит. Временами даже забавляет. Но, честно говоря, у меня нет другого выхода. Я должна заботиться о своей матери, а на выручку от двух-трех картин прожить невозможно… Вы тоже рисовали? ,

- Да, немного…

- Почему же вы бросили?

- Понял, что у меня нет способностей!

- Уверена, что вы ошибаетесь. Когда я встретила вас на выставке, я сразу поняла, что вы очень любите живопись. Достаточно было взглянуть на ваше лицо. Скажите лучше, что вам не хватает смелости. Мужчине не пристало быть таким малодушным. Говорю это для вашего же блага. А вот мне смелости не занимать. Мне очень нравится передавать в картинах свои суждения о людях. В этом, возможно, я добилась некоторых успехов. Но и это пустое занятие. Те, кого я презираю, не поймут моих намерений, а тех, кто способен понять… их слишком мало. Вот и получается, что живопись, как и все другие виды искусства, не находит никакого отклика даже в тех, к кому она обращена. И все-таки это единственное дело, к которому я отношусь с полной серьезностью. Не хочу только, чтобы живопись была единственным источником моего существования. Ибо тогда я вынуждена буду делать не то, что хочу, а то, что от меня потребуют другие. На это я никогда не пойду. Лучше уж на панель. Тела своего мне не жаль… Вот так-то, мой милый друг, - воскликнула она, по-свойски хлопнув меня по колену. - В сущности, моя работа мало отличается от подобного занятия… Вы, наверное, видели, как вчера пьяный поцеловал меня в спину? А почему бы ему и не поцеловать? У него на то полное право! Он платит деньги. А спина, говорят, у меня красивая. Может быть, и вы хотите меня поцеловать? Есть ли у вас

деньги?

Я словно проглотил язык, только растерянно моргал и покусывал губы. Мария глядела на меня, сдвинув брови, - лицо ее побелело как мел.

- Не смейте меня жалеть, Раиф! - вскричала она. - Стоит только мне почувствовать, что вы меня жалеете, - и конец нашим встречам.

Заметив мой растерянный и, вероятно, жалкий вид, Мария положила мне руку на плечо.

- Не обижайтесь! - сказала она. - Я считаю, что мы должны открыто высказаться обо всем, что может помешать нашей дружбе. Недомолвки здесь только вредны. Если в конце концов обнаружится, что мы плохо понимаем друг друга, невелика беда, расстанемся. Согласитесь, все мы обречены на одиночество. Всякая близость обманчива. Ведь даже в самых близких отношениях есть непреодолимая граница. Лишний раз убедившись в этом, люди расходятся еще более разочарованными, чем прежде. Избежать этого разочарования они смогут, только хорошо зная предел возможного и не смешивая своих мечтаний с действительностью. Главное - принимать все таким, как оно есть. Это единственное, что может предотвратить крушение всех наших надежд... Мы все заслуживаем сострадания, но если мы и вправе кого-нибудь жалеть, то только самих себя. Жалеть же других - значит выказывать чувство превосходства... Ну что ж, пойдемте...

Мы поднялись, стряхнули с плащей дождевые капли и пошли обратно. Мокрый песок глухо поскрипывал под ногами.

На улицах заметно потемнело, но фонари еще не зажглись. Возвращались мы тем же путем, каким пришли. Я держал ее под руку. Мне было одновременно и радостно и тревожно. Радовался я тому, что наши чувства и мысли так схожи, что мы так близки друг другу. Но между нами было одно отличие: она старалась смотреть на реальную жизнь без каких-либо иллюзий, ни в чем себя не обманывая. Мне же внутренний голос нашептывал, что стремление видеть человека, каким он есть, может только помешать сближению.

Я люблю правду, но не настолько, чтобы позволить ей стать преградой между нами. Человеческая справедливость требует, чтобы мы пренебрегли мелочами ради объединяющего нас духовного начала, принесли в жертву мелкие истины ради истины высокой и важной.

Так, несомненно, считает и эта женщина, испытавшая немало горьких разочарований и подвергшаяся разъедающему влиянию среды. Не потому ли она судит обо всем так строго и нелицеприятно? Она вынуждена жить среди людей, ей ненавистных, обяза-

на даже улыбаться им. Это тяготит ее, делает недоверчивой и подозрительной. Другое дело - я. Всю жизнь я провел в стороне от людей, они не причиняли мне особых беспокойств, - поэтому и не питаю к ним неприязни. Угнетает меня только чувство одиночества; чтобы избавиться от этого чувства, я готов закрыть глаза на некоторые недостатки в человеке, мне близком. Мы незаметно очутились в центре города. Здесь было светло и многолюдно. С грустным видом Мария думала о чем-то своем.

- Вы расстроены? - робко спросил я ее.

- Нет! - ответила она. - У меня нет никаких причин расстраиваться. Напротив, я довольна сегодняшней прогулкой. Очень довольна...

Но по ее лицу я понял, что это не совсем так. Ее глаза были как бы обращены вглубь, а в улыбке ощущалась настораживающая отчужденность.

- Я не хочу возвращаться домой! - произнесла она вдруг решительно. - Давайте вместе поужинаем. До начала моей работы еще много времени.

Это предложение меня взволновало, но я тотчас же постарался взять себя в руки. Мы зашли в большой полупустой ресторан где-то в западном районе Берлина. В углу оркестр из женщин в национальных баварских нарядах шумно играл популярные мелодии. Мы заняли крайний столик, заказали ужин с вином.

Грустное настроение моей спутницы постепенно передалось и мне. Безотчетная тоска сдавила мне сердце. Заметив, что я помрачнел, Мария попыталась меня подбодрить.

- Ну, что вы нос повесили? - улыбаясь, спросила она, хлопнув меня по руке. - Мужчина, который в первый раз ужинает с молодой красивой женщиной, должен быть веселее и разговорчивее.

Чувствовалось, однако, что Мария сама, хотя и старается шутить, настроена не на веселый лад. Она рассеянно обвела глазами зал, отпила из бокала вина и, посмотрев на меня, вдруг произнесла:

- Ну, что я могу с собой поделать? Другой мне, наверное, уже не стать.

Я лишь смутно догадывался, что она хочет сказать. Вполне возможно, ее мучили те же чувства, что и меня, однако во мне не было полной уверенности.

Взгляд ее подолгу задерживался на всем, что она видела вокруг, и по ее бледному, цвета жемчуга, лицу пробегали едва уловимые тени.

- Не сердитесь на меня!.. - произнесла она дрогнувшим голосом, с трудом сдерживая волнение. - Я хочу поговорить с вами откровенно, чтобы вы не обольщали себя тщетными надеждами!..

Только не обижайтесь... Вчера я подошла к вам первая... Сама попросила, чтобы вы проводили меня домой... Предложила сегодня прогуляться... Вместе поужинать... Вы вправе считать меня навязчивой... Но я вас не люблю... Я раздумываю об этом со вчерашнего дня... Я вас не люблю... Ну, что я могу с собой поделать? Вы очень милы, симпатичны, возможно, у вас есть качества, которых лишены другие мужчины. Не буду отрицать, мне приятно с вами разговаривать, спорить, а иногда и ссориться, чтобы потом мириться... Но ведь это еще не любовь? Вы, наверное, удивляетесь, для чего я это говорю... Только для того, чтобы вы не ожидали от меня большего, чем я могу дать, - и не обижались на меня... Лучше я скажу вам обо всем прямо, чтобы вы не обвиняли меня потом, что я с вами лицемерила. Как бы вы ни отличались от других мужчин - вы все-таки мужчина. А все мужчины, которых я знала, покидали меня в досаде и гневе, когда убеждались, что я их не люблю и не смогу полюбить. Ну что ж! Как говорится, вольному воля. Но почему они считали меня виноватой? Потому только, что я не оправдала их надежд. Но ведь я же им ничего не обещала! Справедливо ли валить всю вину на меня? Я не хочу, чтобы и вы плохо обо мне думали. Можете считать, что это очко в вашу пользу.

Я был поражен. Но, стараясь сохранить спокойствие, робко возразил:

- Вы затеяли напрасный разговор. Наши дружеские отношения сложатся так, как вы того пожелаете.

- Нет, нет, я не согласна, - с неожиданной резкостью возразила она. - Вы, как и другие мужчины, прикидываетесь, будто на все согласны, чтобы потом навязать свои условия. Нет, дорогой друг! Такими умиротворяющими словами вам ничего не достигнуть. Понимаете ли, хотя я всегда шла против самой себя, против всех других, я открыто и нелицемерно высказывала свои мнения. К сожалению, я так и не добилась, чего хотела. Отношения между людьми, в особенности между мужчиной и женщиной, так запутаны, наши чувства и желания так необъяснимы и противоречивы, - что никто из нас не понимает собственных поступков, - остается только плыть по течению. Я же этого не хочу. Для меня унизительно совершать поступки, не удовлетворяющие целиком меня самое, не представляющиеся мне необходимыми. И всего для меня ненавистнее - пассивная роль, навязанная нам, женщинам. Почему мы должны бежать, а вы нас преследовать? Почему вы должны осаждать, а мы сдаваться в плен? Почему даже в ваших слабостях чувствуется сила, а в наших отказах - бессилие? С самого детства я восстаю против такого порядка вещей - и до сих пор еще не смирилась. Долго размышляла, почему я такова,

почему то, что кажется другим женщинам несущественным, представляется мне важным. Может быть, во мне есть какая-то ненормальность? Да нет, скорее нормальна я, а не другие женщины. По чистой случайности моя жизнь сложилась так, что я, в отличие от них, сама была хозяйкой своей судьбы. Отец мой умер молодым, когда я была еще совсем маленькой. Мы остались вдвоем с матерью. А моя мать - образец женщины, которая привыкла подчиняться чужой воле. Она давно утратила всякую самостоятельность, - вернее сказать, никогда ее не имела. И вот уже в семь лет я начала ею руководить, стала учить ее стойкости и рассудительности. Я росла, не зная над собой мужской власти. В школе меня возмущали убогие стремления моих сверстниц. Я даже не пыталась овладеть искусством завлекать мужчин. Никогда перед ними не краснела и не ждала никаких знаков внимания. Моя независимость и самостоятельность обрекли меня на полное одиночество. Школьные подружки сторонились меня: мои мысли, поведение неприятно смущали их покой. Им куда приятнее было чувствовать себя куклами для забавы, чем людьми. С мальчишками, а потом с мужчинами у меня тоже не складывалась дружба. Они искали во мне мягкой покорности и, наталкиваясь на равную силу, спешили ретироваться. Тогда-то я и узнала подлинную цену мужской решительности и воли. Мужчины падки только до легких побед. Нет на свете, наверное, более самовлюбленных, эгоистичных, спесивых и в то же время изнеженных и трусливых существ, чем мужчины. Раскусив их как следует, уже невозможно заставить себя полюбить кого-нибудь. Мне не раз приходилось видеть, как самые приятные, самые близкие мне люди по мельчайшему поводу показывали вдруг свои волчьи зубы. Даже после мгновений близости, когда мужчины, случается, просят о прощении, когда они, казалось бы, готовы на все ради любимых женщин, - в их взглядах сверкает торжество победителей. Но нуждаются в сочувствии и помощи именно они, мужчины. Ни одна женщина не выглядит в страсти такой беспомощной и смешной, как они. Но это не мешает им считать свою слабость проявлением силы, более того, гордиться ею. Боже милостивый! Можно сойти с ума от всего этого. Честное слово, хотя у меня и нет никаких противоестественных влечений, я предпочла бы влюбиться в женщину, а не в мужчину.

Она замолчала, испытующе на меня посмотрела и отхлебнула немного вина. Похоже, ее настроение понемногу улучшалось..

- Вы ошарашены? Не пугайтесь, я не имею в виду ничего дурного. Но иногда я думаю, что лучше все что угодно, - только не это. Ничто не может быть унизительнее для человеческого духа... Я ведь, как вы знаете, художница. У меня свое понимание красо-

ты… Однополая любовь мне не нравится. Она, как бы вам сказать, просто не эстетична. К тому же я люблю все естественное и стараюсь избегать всего неестественного. Поэтому я считаю, что если уж любить, то мужчину… Но только настоящего мужчину. Такого, который от меня ничего не требовал бы, не стремился бы меня поработить и унизить, который всегда шел бы со мной рядом - сильный и благородный. Теперь вы понимаете, почему я вас не люблю. Конечно, прошло слишком мало времени для полного выявления чувств. Но вы, честно вам скажу, - не мой идеал. Хорошо, что вы не спесивы, как большинство мужчин. Но в вас есть что-то детское, даже женское. Вами, как и моей матерью, надо руководить. Конечно, я могла бы это делать… Если только вы захотите… Но на большее не рассчитывайте!.. Мы сможем стать хорошими приятелями. Вы первый мужчина, который слушает меня, не перебивая, не пытаясь оспаривать, переубеждать. По вашим глазам вижу, что вы меня правильно понимаете… Да, мы будем не только приятелями, но и друзьями. И вы говорите со мной так же откровенно, как я с вами. Неужели этого мало - иметь кому излить душу? Но, требуя большего, можно потерять все. Я бы, во всяком случае, не хотела вас лишиться. Я уже вам вчера говорила: у меня день на день не приходится. Не хочу только, чтобы вы заблуждались… Ко от главного своего принципа я не отступлюсь никогда! Ну, как? Согласны вы дружить со мной?..

Ее слова потрясли меня. Я не хотел выносить о ней окончательное суждение, опасаясь, что окажусь необъективным. Лишь одно желание переполняло меня - удержать ее, удержать любой ценой, а там будет видно. Я никогда не требую от людей большего, чем они могут дать. И все же я был захвачен врасплох, не знал, что ответить. Чувствуя на себе выжидательный взгляд ее черных глаз, я медленно заговорил:

- Мария… Я хорошо вас понимаю… Вы так откровенно делитесь со мной жизненным опытом, видимо, для того, чтобы ничто не мешало впоследствии нашей дружбе. Значит, вы дорожите этой дружбой?..

Она утвердительно кивнула головой.

- Вероятно, вам не было надобности говорить мне все это. Но вы меня еще плохо знаете, мы так недавно знакомы. Поэтому ваша предусмотрительность вполне оправданна… У меня нет такого жизненного опыта, как у вас. С людьми я общался мало, жил почти в полном одиночестве. Но, хотя мы шли разными дорогами, оба пришли к одному выводу: каждому из нас нужен добрый друг, близкий человек. Как замечательно, если каждый из нас найдет в другом то, что ищет! Это - главное, все остальное - второстепенное. Ну, а если говорить об отношениях между мужчиной и жен-

щиной, то вполне можете быть уверены, что я никогда не опущусь до уровня тех, кто внушает вам такую неприязнь. У меня не было в жизни ничего похожего на любовное приключение. Я бы не мог полюбить женщину, если бы ее не уважал и не считал себе равной. Вы только что говорили о том, что вам ненавистно стремление унижать других. Но, по-моему, мужчина, допускающий это, перестает быть личностью, он прежде всего унижает самого себя. Я тоже, как и вы, очень люблю природу. Могу даже сказать, что насколько далеки мне люди, настолько близка природа. Моя родина - одна из красивейших стран в мире. На ее земле возникали и рушились многие древние цивилизации. Еще мальчишкой, лежа в тени вековых олив, я размышлял о людях, срывавших с них некогда плоды. На горных склонах, поросших соснами, куда, думалось мне, еще не ступала людская нога, я находил старинные мраморные мосты и обломки колонн. Они дороги мне, как друзья детства, ими вскормлено мое воображение. С того времени я полюбил естество с его неумолимой логикой. Пусть же наша дружба развивается естественным путем. Не будем втискивать ее в какие-то искусственные рамки и связывать поспешными решениями!

- Я вас недооценила! - воскликнула Мария, притронувшись указательным пальцем к моей руке. - Вы вовсе не такой уж ребенок.

Она смотрела на меня удивленно и даже с некоторой робостью. Нижняя губа ее была чуть выпячена. Казалось, она вот-вот расплачется, как маленькая девочка. Но глаза ее оставались задумчивыми и серьезными. Нельзя было не поразиться, как быстро меняется выражение ее лица.

- Надеюсь, вы еще расскажете мне о себе, о своей стране, об оливковых рощах, - продолжала она. - А я вам расскажу, что помню, о своем детстве, об отце. Не сомневаюсь, у нас найдется, о чем поговорить. Но здесь стало слишком шумно. Может быть, потому, что зал почти пустой. Бедняги артисты вовсю стараются развеселить хотя бы самого хозяина... Знали бы вы, каковы хозяева подобных заведений!

- Ужасные, вероятно, грубияны!

- Еще какие! На их примере можно неплохо изучить подлинное нутро мужчин! Взять хотя бы хозяина нашего «Атлантика». На вид он вполне респектабелен, вежлив не только с посетителями, но и с любой независимой от него женщиной. Если бы я не работала в его кабаре, он ухаживал бы за мной, как барон, щеголяя самыми изысканными манерами. Но он сразу же преображается, когда имеет дело с теми, которым платит. Его любимое выражение: «деловой дух». Правильнее было бы сказать - «дух наживы». Его грубость, переходящая нередко в прямую наглость и хамство,

объясняется не столько желанием поддержать свой авторитет, сколько страхом перед тем, что его обманут. Видели бы вы, как этот, возможно, неплохой семьянин и честный гражданин, пытается купить не только наш голос, улыбку, тело, но и наше человеческое достоинство!

- А чем занимался ваш отец? - перебил я ее без всякой задней мысли, по случайной ассоциации.

- Разве я не говорила? Он был адвокатом. Почему вы меня об этом вдруг спросили? Хотите понять, как я докатилась до такой жизни?

Я промолчал.

- Вы еще очень плохо знаете Германию. В моей судьбе нет ничего необычного. Я училась на деньги, которые остались нам по наследству от отца. Жили мы неплохо. Во время войны я работала сестрой в больнице. Потом поступила в академию художеств. Но инфляция целиком поглотила наше небольшое состояние. Я вынуждена была начать зарабатывать. Не то чтобы я об этом сожалела! В самой работе нет ничего плохого, но беда, что на работе унижают. Вот мне, например, приходится сидеть с пьяными скотами. Нелегко выдержать их взгляд. Если бы в нем выражалось лишь откровенное скотство, я могла бы еще с этим мириться. Но что может быть хуже и омерзительнее, чем скотство, скрещенное с лицемерием, хитростью и ничтожностью.

Она опять оглянулась кругом. Оркестр гремел, во весь голос надрывалась толстая певица в национальном баварском платье, со взбитыми волосами цвета соломы. Она приплясывала и пела одну за другой веселые тирольские песни, выдавливая из гортани какие-то странные, пронзительные звуки.

- Пойдемте отсюда, - предложила Мария. - Найдем где-нибудь местечко потише. Еще ведь рано!.. - И, заглянув мне в глаза, добавила: - Или, может быть, я вас уже утомила?.. Вожу по всему городу да еще и болтаю без умолку. Женщина не должна быть такой разговорчивой... Нет, я вас серьезно спрашиваю. Если вам скучно, я вас готова отпустить.

Я молча, даже не поднимая на нее глаз, сжал ей руку. И только уверившись, что она поняла переполнявшие меня чувства, прошептал:

- Я вам очень благодарен!

- А я - вам! - ответила она, высвобождая руку. Когда мы вышли на улицу, она сказала:

- Давайте зайдем в кафе, тут совсем рядом! Очень симпатичное место. И публика интересная...

- Римское кафе?

- А вы откуда его знаете? Бывали уже там? д

- Нет, просто много о нем слышал. Она засмеялась:

- Наверное, от своих товарищей, которые к концу месяца остаются без гроша в кармане?

Я тоже улыбнулся. Об этом кафе, очень популярном среди художников и артистов, я действительно был наслышан. К полуночи здесь собирались и похотливые старики, и ищущие приключений юнцы, и богатые дамочки - представители всех возрастов и национальностей, которые развлекались каждый на свой манер.

В этот ранний час большинство посетителей составляли молодые художники, артисты, литераторы. Они сидели небольшими группками и громко спорили. По лестнице между колонн мы поднялись на антресоль, где не без труда нашли свободный столик. Нашими соседями были молодые длинноволосые художники в широкополых шляпах, всем своим видом подражавшие французским мэтрам, литераторы с трубками в зубах и с длинными ногтями, что-то строчившие в разложенных перед ними блокнотах.

Высокий молодой человек со светлыми волосами и пышными, почти до самого рта бакенбардами издали поздоровался с моей спутницей, а потом подошел к нашему столику.

- Привет мадонне в меховом манто! - воскликнул он и, сжав голову Марии ладонями, поцеловал ее сначала в лоб, а потом в обе щеки.

Я сидел, опустив глаза. Они поговорили о том о сем. Их картины, как выяснилось из этого разговора, экспонировались на одной и той же выставке. Наконец молодой человек поднялся, крепко пожал Марии руку, запросто, как принято у людей искусства, бросил в мою сторону: «До свидания!» - и удалился.

Я сидел, не поднимая глаз.

- Ты о чем думаешь? - спросила Мария.

- Вы обращаетесь ко мне на «ты»?

- Да… Вы не возражаете?

- Что вы! Наоборот. Спасибо вам.

- Что-то вы слишком часто меня благодарите!

- Так уж у нас принято… на Востоке. Вы спросили, о чем я думаю? Вот о чем. Он вас поцеловал, а я не чувствую ревности.

- Правда?

- Да, мне самому хотелось бы знать, почему я вас не ревную.

Мы долго переглядывались. С доверием - и в то же время как бы изучая друг друга.

- Расскажите мне немного о себе, - попросила она. Мне так много хотелось ей рассказать. Весь день я

вынашивал свою исповедь. Но тут, как назло, все заготовленные заранее фразы выскочили у меня из головы. Я говорил обо всем, что приходило в голову, - о своем детстве, 6 службе в армии, о прочитанных книгах, о юношеских мечтах, о дочери нашего соседа Фахрие и даже о бандитах, с которыми был знаком лично. Все, что я таил глубоко в душе, скрывая даже от самого себя, неожиданно выплеснулось наружу. Впервые в жизни говорил я о самом себе с предельной откровенностью. Я так старался не лгать, ничего не утаивать, не представлять себя в выгодном свете, что иногда даже, выпячивая свои недостатки, грешил против истины.

Воспоминания, мысли, чувства, которые я долго скрывал, изливались широким и бурным потоком. Мария, внимательно слушая, смотрела на меня пристальным взглядом, как будто хотела понять даже то, что я не мог выразить в словах. Иногда она покачивала головой, как бы соглашаясь со мной, иногда приоткрывала рот в искреннем удивлении. Когда я слишком горячился, она легонько поглаживала мою руку, а когда в моем голосе слышалась жалоба, участливо улыбалась.

И вдруг, словно повинуясь неведомой силе, я запнулся и поглядел на часы. Было уже около одиннадцати. Кафе заметно опустело. Я вскочил с места.

- Вы же опоздаете на работу.

Она продолжала еще некоторое время спокойно сидеть. Наконец, крепко сжав мою руку, не спеша поднялась.

- Вы правы, надо идти, - сказала она и, надев берет, добавила: - Мы очень хорошо поговорили!

Я проводил Марию до «Атлантика». Дорогой мы не разговаривали. Оба были переполнены впечатлениями сегодняшнего вечера, и требовалось, вероятно, какое-то время для их осмысления. Неожиданно она вздрогнула и поежилась.

- Из-за меня вы не успели зайти домой и надеть свое меховое манто, а теперь мерзнете!

- Из-за вас?.. Да, верно, из-за вас... Но в конце концов вина моя собственная. Впрочем, невелика беда! Пойдемте быстрее.

- Я могу вас обождать и после работы провожу домой!

- Нет, нет! Ни в коем случае! Увидимся завтра!

- Как хотите!

Чтобы согреться, Мария плотнее прижалась ко мне. Когда мы подошли к освещенной двери ресторана, она остановилась и протянула мне руку. Вид у нее был такой, будто она думала о чем-то очень значительном. Она отвела меня в сторону и, опустив глаза, скороговоркой прошептала:

- Значит, вы не ревнуете? Неужели вы меня и впрямь так сильно любите?

Подняв глаза, она с любопытством заглянула мне в лицо.

Я хотел высказать ей все, что чувствовал, но к горлу подступил ком, а пересохший язык будто прилип к гортани. Да и нужно ли было говорить? Любое слово могло только спугнуть счастье. Я боялся даже громко дышать. А она пристально и, как мне казалось, даже с испугом смотрела на меня. Глаза мои увлажнились. Черты ее лица вдруг смягчились. Она снова закрыла глаза, будто приготовилась слушать. Потом вдруг притянула мою голову к себе, поцеловала меня в губы и, резко повернувшись, скрылась за дверью.

Назад, к себе в пансион, я не шел, а бежал. Мне не хотелось ни думать, ни вспоминать. События этого вечера были мне так дороги, что я боялся, как бы они не потускнели, преломившись в воспоминаниях. Какие-то полчаса назад я страшился неосторожным словом прогнать свое неожиданное счастье. Теперь же я опасался, что мечты могут нарушить дивную гармонию пережитых мною часов.

Даже наш пансион с темной лестницей показался мне уютным и милым, а наполнявшие коридор запахи не вызвали обычного раздражения.

С того вечера мы встречались с Марией каждый день. Конечно же, за один раз мы не могли высказать все друг другу. Люди, которых мы видели, городские пейзажи, которыми мы вместе любовались, - давали нам неисчислимые темы для бесед. Мы убеждались все больше, что думаем и чувствуем одинаково. Эта духовная близость была порождением не только общей точки зрения на многие вещи. Любая мысль, высказанная одним из нас, тут же подхватывалась другим. А ведь взаимная готовность принимать мнение своего собеседника - одно из выражений духовной близости.

Чаще всего мы ходили в музеи, посещали картинные галереи и выставки. Мария много рассказывала о старых мастерах и современных художниках. Мы часами спорили об их творчестве. Несколько раз заходили в ботанический сад, бывали в опере. Но оперные спектакли кончались в десять - пол-одиннадцатого, и Мария еле успевала на работу, поэтому мы перестали посещать оперу.

- Дело не только в нехватке времени, - объяснила мне как-то Мария. - Есть еще и другая причина. Слушать оперу, а потом петь в «Атлантике» смешно и даже кощунственно.

На фабрике я появлялся теперь только по утрам. В. пансионе старался ни с кем не разговаривать.

- Наверное, попались кому-нибудь в сети, - ехидно предположила однажды фрау Хоппнер. В ответ я только улыбнулся. Особенно тщательно я скрывал то, что со мной происходит, от фрау ван Тидеманн. Мария, вероятно, только посмеялась бы над моей восточной скрытностью, - но я не мог вести себя иначе.

Между тем скрывать, собственно говоря, было нечего. Установившиеся между нами с первого вечера дружеские отношения оставались в тех же рамках, которые мы сами для себя определили. О том, что произошло перед кабаре «Атлантик», мы, словно договорившись, никогда больше не вспоминали. Оба старались лучше узнать друг друга и помногу говорили, выясняя все, что нас интересовало. Постепенно взаимное любопытство стало не таким острым, его место заняла привычка. Если по какой-либо причине нам не удавалось два-три дня кряду увидется, мы очень скучали. Когда же наконец встречались, то радовались, как дети. Обычно мы гуляли, взявшись за руки. Я очень ее любил. Моей любви, казалось, хватило бы на весь мир, и я был счастлив, что есть человек, на которого можно ее излить. Мария тоже, несомненно, питала ко мне глубокую симпатию и искала моего общества. Однако наши отношения не выходили за рамки дружбы. Как-то, когда мы прогуливались по Грюнвальдскому лесу в окрестностях Берлина, она оперлась на мое плечо. Рука ее легонько покачивалась,и большой палец, казалось, вычерчивал маленькие круги в воздухе. Повинуясь внезапно охватившему меня желанию, я поймал ее руку и поцеловал в ладонь. Она тут же плавным, но решительным движением убрала руку с моего плеча. Мы ни словом не обмолвились по поводу этого и как ни в чем не бывало продолжали нашу прогулку. Но ее внезапная суровость предостерегла меня против подобных проявлений чувств. Иногда разговор заходил и о любви. Тон ее был таким равнодушным, что я невольно впадал в отчаяние. И все-таки я продолжал безропотно принимать все ее условия. Но несмотря на это я умудрялся иногда сводить разговор на тему, которая меня интересовала. По-моему, любовь отнюдь не некое обособленное, существующее само по себе чувство. Взаимное тяготение или симпатия в отношениях между людьми тоже являются формой проявления любви. Меняются названия - суть остается прежней. Думать иначе - только обманывать самого себя.

Мария шутливо грозила мне указательным пальцем и посмеивалась:

- Ошибаетесь, мой друг. Любовь - отнюдь не симпатия или нежность, как вы утверждаете. Это чувство, не поддающееся никакому анализу, никто не может сказать, почему оно появляется и почему в один прекрасный день исчезает. Другое дело - дружба.

Она постоянна, открыта для понимания. Можно объяснить, и почему она завязывается, и почему обрывается. Подумайте сами, на свете может быть множество людей, нам нравящихся. У меня, например, есть немало хороших друзей, которых я очень ценю. Вы, могу я сказать, - первый из них. Нельзя же считать, что я люблю всех.

- Однако вы можете любить одного всей душой, - продолжал я стоять на своем, - а остальных - немного.

- В таком случае почему же вы меня не ревнуете? Ответил я не сразу, только после некоторого размышления.

- Человек, испытывающий истинную любовь, не стремится к монополии и ждет того же от других. Вся сила его любви обращается на одного-единственного человека. Но любовь от этого не уменьшается.

- Я была уверена, что восточные люди рассуждают по-другому.

- А у меня свое мнение.

Мария долго молчала, глядя в одну точку.

- Я хочу совсем другой любви, - заговорила наконец она. - Любовь не подвластна логике и в сущности своей необъяснима. Любить и симпатизировать - вещи совершенно разные. Любить - значит хотеть всем сердцем, всем телом. Любовь для меня прежде всего желание. Всепобеждающее желание.

Тут я перебил ее, как бы уличая в заведомом заблуждении:

- То, о чем вы говорите, живет лишь одно мгновение. Скопившаяся в нас симпатия, сильное увлечение, интерес в какой-то миг концентрируются, сливаются в один поток. Так, проходя сквозь увеличительное стекло, неяркие солнечные лучи собираются в пучок, способный воспламенить дерево. Тепло симпатии легко превращается в пламя любви. Неверно думать, будто любовь приходит извне. Нет, она вспыхивает от скопления чувств.

На этом и закончился наш спор, но мы возвращались к нему снова и снова. Я чувствовал, что в моих словах и в ее мыслях есть немало уязвимых мест. Как далеко ни простиралась бы наша откровенность, несомненно, что нами все-же управляли тайные, трудновыразимые мысли и желания. Наши точки зрения часто совпадали, но всегда оставались и расхождения, а если один из нас легко уступал другому, то только ради важной цели. Мы не боялись изливать самые сокровенные свои чувства и мысли и спорили достаточно смело; и все-таки было нечто такое, о чем предпочитали не говорить, и внутреннее чутье подсказывало мне, что это-то и есть самое важное.

За всю свою жизнь я не встречал человека более близкого, чем Мария, и стремился удержать ее любой ценой. Самым заветным моим желанием было, чтобы она принадлежала мне вся без

остатка, душой и телом. Но, боясь вообще ее потерять, я не сознавался в этом желании даже самому себе. Мне страшно было одним неосторожным движением спугнуть красивую птицу, лишив себя радости хотя бы любоваться ею.

В то же время я смутно сознавал, что моя нерешительность и робость могут нанести мне большой вред. В человеческих отношениях не должно быть застоя. Стояние на месте равносильно движению назад. Минуты, которые не приносят сближения, отдаляют. Сознание всего этого вселяло в мою душу растущее беспокойство.

Однако я не решался что-либо предпринять - для этого нужно было быть другим человеком. Я понимал, что блуждаю вокруг одной и той же точки, но даже не искал путей, прямо к ней ведущих. Я уже успел избавиться от прежней своей застенчивости и несмелости. Не замыкался больше в себе. Бывал даже слишком откровенен. Однако никогда не высказывал затаенной своей мечты.

Не знаю, так ли глубоко и последовательно рассуждал я в ту пору. Но теперь, двенадцать лет спустя, оглядываясь назад, я прихожу именно к таким выводам. И на то, что я пишу о Марии, тоже наложило свой отпечаток протекшее время.

Тогда же со всей очевидностью я сознавал только одно: в душе Марии противоборствуют разные чувства. То она была чрезмерно задумчива, даже холодна, то становилась ко мне внимательной и предупредительной, то вдруг явным заигрыванием вызывала у меня прилив смелости и решимости. Однако такое задорное настроение проходило у нее очень быстро, и наши отношения снова входили в прежнее русло товарищества. Конечно, она, как и я, хорошо понимала, что наша дружба, если не будет развиваться, может зайти в тупик. Хотя Мария и не находила во мне тех главных качеств, которые, по ее убеждению, должны быть присущи мужчине, она, несомненно, замечала другие мои достоинства и поэтому, видимо, старалась не делать никаких шагов, которые могли бы привести к отчуждению.

Все эти противоречивые чувства таились в уголках наших душ, как бы избегая лучей яркого света. Мы по-прежнему оставались близкими задушевными друзьями, постоянно искали встреч и, взаимно обогащая друг друга, чувствовали себя довольными, может быть, даже счастливыми.

И все-таки в конце концов случилось нечто такое, что резко изменило наши отношения, направив их по новому руслу. Был конец декабря. Мать Марии уехала на рождество к своим дальним родственникам под Прагу. Мария была рада, что осталась одна.

- Должна тебе сказать, - призналась она мне, - ничто меня так не раздражает, как эти рождественские елки с украшениями и зажженными свечами. Не приписывай это моему происхождению. Я не понимаю иудейской религии тоже, ее странную и бессмысленную обрядность. Точно так же не могу я понять и людей, которые устраивают пышные празднества только для того, чтобы почувствовать себя на какой-то миг счастливыми. Но моей старой матери-протестантке, в которой течет чисто немецкая кровь, эти праздники очень дороги. Мои мысли она считает кощунственными. Но не потому, что они оскорбляют ее религиозные чувства, а потому просто, что она боится потерять душевный покой в последние дни своей жизни.

- Неужели и в Новом году ты не находишь ничего хорошего?

- Абсолютно ничего! Чем первые дни года отличаются от всех последующих? Не природа - человек расчленяет время на годы. От самого своего рождения и до самой смерти он идет одной дорогой, и ставить на ней вехи - надуманная затея. Но не будем философствовать. Если тебе так хочется, встретим Новый год вместе.

Я заканчиваю работу в «Атлантике» довольно рано, еще до полуночи. В новогоднюю ночь там особая программа. Так что мы можем побыть с тобой вместе, выпить, как все добрые люди. Иногда очень неплохо отрешиться от своего внутреннего «я», слиться с общей массой... Как ты считаешь? Ведь мы с тобой, кажется, ни разу еще не танцевали?

- Не танцевали.

- Да я и не очень-то люблю танцевать. Лишь иногда примиряюсь с танцами. Когда партнер мне по душе.

- Боюсь, что я не тот партнер, с которым тебе приятно будет танцевать.

- Что поделаешь! Дружба требует жертв.

В канун Нового года мы вместе поужинали в небольшом ресторане. За разговорами не заметили, как пролетело время. Марии надо было уже на работу. Как только мы оказались в «Атлантике», Мария пошла переодеваться, а я занял тот же столик, что и при первом посещении. Везде были развешены разноцветные фонарики, опутанные серпантином и нитями золотого дождя. Все были уже навеселе. Танцующие прижимались друг к другу и целовались. Мною овладела беспричинная тоска.

«К чему все это? - подумал я. - И впрямь, что примечательного в сегодняшней ночи? Сами придумали божка - и сами ему поклоняемся. Шли бы лучше все по домам - да ложились спать! Что нам здесь делать? Вертеться, как они, прижавшись друг к другу? С одной только разницей - целоваться мы, конечно, не будем... Ну,

а танцевать-то я смогу или нет?..»

Еще когда я учился в Стамбуле, в школе изящных искусств, приятели показали мне несколько танцев, которым сами они научились у русских белоэмигрантов, наполнявших в то время город. Я даже мог с горем пополам кружиться в вальсе… Но с тех пор прошло полтора года. Что, если я опозорюсь? «Ничего, ничего, - успокоил я себя. - Танец всегда можно прекратить».

Номер Марии продолжался меньше, чем я предполагал. В зале стоял невероятный шум. В тот вечер каждый предпочитал развлекаться сам. Мария быстро переоделась, и мы сразу же направились в большой ресторан «Европа», рядом со станцией Анхальтер. Здесь царила совсем другая атмосфера. В нескольких огромных залах кружились в танцах сотни пар. На столах стояли батареи бутылок различного калибра и цвета. Некоторые посетители уже клевали носом; другие сидели в обнимку.

Мария была странно весела. Игриво ударяя меня по руке, она говорила:

- Знала бы, что ты будешь сидеть такой хмурый, выбрала бы себе другого кавалера.

Она с удивительной быстротой опустошала бокалы рейнского и требовала, чтобы я не отставал от нее.

После полуночи началась настоящая вакханалия. Повсюду слышались возбужденные крики и хохот. Под гром четырех оркестров вальсировали, шаркая ногами, многочисленные пары. Необузданные страсти послевоенных лет проявлялись здесь во всей своей наготе. Горестно было смотреть на безумствование молодых людей с блестящими неврастеническими глазами и на девушек, убежденных, что, дав волю своим половым влечениям, они выражают протест против глупых условностей общества, против его ханжеской морали.

- Раиф! Раиф! - воскликнула Мария, протягивая мне еще один бокал вина. - Ну что ты сидишь как в воду опущенный? Ты же видишь, как я стараюсь избавиться от меланхолии. Хоть сегодня отвлечемся от своих грустных мыслей. Представь себе, что мы - не мы! Мы только частица этой толпы. Все они не таковы, какими кажутся. Но нет, я не хочу! Не хочу сейчас вникать в их истинные мысли и чувства! Пей и веселись!

Я понял, что она захмелела. Она пересела поближе и положила мне руку на плечо. Сердце у меня затрепетало, как попавшая в силки птица. Ей почему-то казалось, что я скучаю. А я был счастлив, так счастлив, что смех замирал у меня на устах.

Снова заиграли вальс.

- Пойдем… - несмело шепнул я ей на ухо. - Только не сердись - я ведь не очень хорошо танцую…

Она тут же вскочила, сделав вид, что не расслышала моих последних слов.

- Пойдем!

И мы закружились в толпе танцующих. Впрочем, это даже нельзя было назвать танцем. Сжатые со всех сторон, мы топтались на одном месте. Но были довольны. Мария не отрываясь смотрела на меня. В ее черных задумчивых глазах по временам вспыхивал какой-то странный, загадочный свет. От ее груди исходил едва уловимый, удивительно приятный запах. Но приятнее всего было сознавать ее близость и то, что я тоже для нее что-то значу.

- Мария, - прошептал я. - Сколько радости может доставить один человек другому. Мы сами не знаем, какая в нас таится сила.

Ее глаза на миг снова вспыхнули. Окинув меня пристальным взглядом, она вдруг закусила губу. И, сразу сникнув, устало проговорила:

- Давай сядем! Ужасная толкучка!

Мы вернулись к столу. Она опустошила еще несколько бокалов вина и неожиданно встала.

- Я сейчас вернусь, - сказала она и, покачиваясь, ушла.

Несмотря на все уговоры, пил я не так уж много и. был только слегка навеселе. Но голова моя раскалывалась от боли. Прошло минут пятнадцать, а Марии все не было. Обеспокоенный - уж не стало ли ей плохо - я принялся искать ее. Около туалетных комнат толпилось много женщин - кто расправлял платье, кто подкрашивал губы перед зеркалом. Марии тут не было. Не было ее и среди женщин, сидевших на расставленных вдоль стен диванах. Беспокойство мое усилилось. Задевая стоявших и сидевших людей, я обежал все залы. Перепрыгивая через несколько ступенек, спустился в вестибюль. И здесь я не нашел Марии.

И вдруг сквозь затуманенное стекло парадной двери я увидел на улице белеющую фигуру. Я выскочил через турникет наружу - и невольно вскрикнул. Обхватив голову руками, Мария стояла у дерева. На ней не было ничего, кроме тонкого шерстяного платья. На ее волосы и лицо медленно падали снежинки. Услышав мой голос, она обернулась и с улыбкой спросила:

- Где ты пропадал?

- Это у тебя надо спросить, где ты пропадала? Что ты здесь делаешь? - закричал я.

- Тсс! - остановила она меня, приложив палец к губам. - Я вышла глотнуть свежего воздуха и немножко охладиться.

Я чуть не насильно втолкнул ее в холл и усадил на стул. Потом поднялся наверх, рассчитался с официантом. Надел свое пальто и помог ей одеться. Мы вышли на улицу и зашагали по снегу. Она

старалась идти как можно быстрее, крепко уцепившись за мою руку. По дороге нам то и дело попадались захмелевшие парочки и веселые шумные компании. Многие женщины были одеты слишком легко - словно праздник не зимний, а весенний. Все были оживлены, громко смеялись, шутили, пели песни.

Пробираясь сквозь толпы веселых прохожих, Мария все ускоряла шаг, я еле поспевал за ней. По дороге кто-то пытался с ней заговорить, кто-то даже лез целоваться, но она отделывалась от всех, пренебрежительно улыбаясь, - и снова спешила вперед. Я убедился, что она вовсе не так пьяна, как я думал.

Когда мы наконец свернули в тихий переулок, она сразу же замедлила шаг.

- Ну как? Доволен ты сегодняшним вечером? - спросила она. - Надеюсь, хорошо повеселился? Я уже давно так не веселилась... Очень давно...

Она громко рассмеялась - и вдруг закашлялась. Кашель был очень сильный, все ее тело сотрясалось, но она не выпускала моей руки.

- Что с тобой? - испуганно спросил я, когда кашель на миг прекратился. - Вот видишь, простудилась!

- Ох! - опять расхохоталась она. - Как я сегодня веселилась! Как веселилась!

Опасаясь, как бы этот смех не перешел в истерику, я спешил довести ее до дому.

Шаг ее становился все менее и менее уверенным. Силы явно ее оставляли. Я же, напротив, на морозном воздухе быстро пришел в себя. Чтобы она не упала, мне пришлось обнять ее за талию. В одном месте, переходя улицу, мы поскользнулись и чуть не грохнулись на снег. Мария что-то тихо бормотала себе под нос. Сначала я подумал было, что она напевает песенку. Но, прислушавшись, я понял, что она разговаривает со мной.

- Да, такая уж я есть, - твердила она. - Раиф! Милый мой Раиф... такая уж я есть... Ведь я предупреждала... У меня день на день не приходится... Ты только не расстраивайся... Огорчаться никогда не стоит. Ты у меня очень хороший!.. Очень, очень хороший!

Вдруг она всхлипнула и, уже плача, продолжала шептать:

- Только не расстраивайся!..

Через полчаса мы наконец добрели до ее дома. Около подъезда она остановилась.

- Где твои ключи? - спросил я слегка раздраженным тоном.

- Не сердись, Раиф... Не сердись на меня!.. Наверное, в кармане.

Она достала связку из трех ключей. Я открыл парадную дверь и попытался втащить ее наверх, но она ускользнула от меня и бросилась бежать по лестнице.

- Смотри - упадешь!

- Не бойся! - ответила она, тяжело дыша. - Я сама поднимусь.

Ключи были у меня, и мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. На одной из верхних площадок в темноте я услышал ее голос.

- Я здесь… Открой эту дверь…

Кое-как мне удалось отпереть дверь. Мы вошли вместе. Она зажгла свет. Обведя быстрым взглядом комнату, я увидел старую, но в хорошем еще состоянии мебель и резную дубовую кровать.

Скинув с себя манто и бросив его на диван, она показала мне на стул:

- Садись!

Сама она присела на край кровати. Быстро сняла туфли, чулки, стянула через голову платье и, бросив его на стул, нырнула под одеяло.

Я встал со стула и молча протянул ей руку. Она посмотрела на меня как-то странно, будто увидела впервые, и пьяно улыбнулась. Я потупился. Когда я решился наконец снова взглянуть на нее, то увидел, что она лежит, вытянувшись, в странном беспокойстве мигая глазами. Из-под белого покрывала выглядывали плечо и рука, такие же бледные, как и лицо. Левым локтем она опиралась о подушку.

- Ты совсем замерзнешь! - сказал я.

Она с силой потянула меня за руку и усадила рядом. Потом придвинулась ко мне, прижалась лицом к моим рукам и сбивчиво заговорила:

- Ах, Раиф!.. Выходит, и ты можешь быть суровым?.. Что ж, ты прав… Что поделаешь? Если бы ты знал… Если б только знал… Не правда ли, мы сегодня неплохо повеселились?.. Нет, нет, не убирай руки!.. Я тебя таким никогда еще не видела…

Я отодвинулся от нее. Она, поджав колени, села со мной рядом.

- Посмотри на меня, Раиф!.. То, что ты обо мне думаешь, - неверно. Я это тебе докажу. И не только тебе, но и самой себе. Ну отчего ты такой мрачный? Ты мне не веришь? Все еще во мне сомневаешься?

Она закрыла глаза. Я видел, что она усиленно старается собраться с мыслями. Заметив, что по ее оголенным плечам пробежала дрожь, я прикрыл ее одеялом и, чтобы оно не сползло, прижал его рукой.

Она открыла глаза.

- Да, я такая… - снова произнесла она с растерянной улыбкой. - И ты тоже смеешься надо мной… я…

Ее распущенные волосы ниспадали на лоб. Большие густые ресницы отбрасывали тень на переносицу, нижняя губа слегка

подрагивала. Лицо ее в этот миг было красивее, чем на автопортрете, красивее, чем лицо мадонны. Я крепко прижал к себе Марию и почувствовал, как трепещет ее тело.

- Да… Да… Я тебя люблю… - шептала она. - Очень люблю… Очень и очень… Ты удивлен… Почему? Иначе и не могло быть… Я же вижу, как сильно ты меня любишь… Не сомневайся, что и я люблю тебя так же сильно. - Она прижалась ко мне и покрыла все мое лицо обжигающими поцелуями…

Проснувшись на следующее утро, я услышал спокойное и ровное дыхание. Мария спала ко мне спиной, подложив руку под голову. Волосы ее разметались по белой подушке. Окаймленные нежным пушком губы были чуть-чуть приоткрыты. Ноздри слегка раздувались, воздух шевелил упавшие пряди волос.

Я откинулся головой на подушку и, уставясь взглядом в потолок, с волнением и даже страхом стал ожидать ее пробуждения. Как она на меня посмотрит, когда откроет глаза? Что скажет? Казалось, в душе моей должно было воцариться спокойствие и уверенность. Ничего подобного! Я весь трепетал, как подсудимый в ожидании приговора. Почему - я и сам не знал. Ведь мне нечего было уже ждать. Нечего желать. Я достиг предела своих желаний.

Я ощущал в себе странную пустоту. Чего же мне не хватает? На этот вопрос я не мог ответить. Человек выходит из дому с таким ощущением, будто он что-то забыл, но что именно, он никак не может вспомнить. Он не возвращается, нехотя продолжает путь, но в душе у него какое-то неясное беспокойство, тревога. Такое же приблизительно чувство владело и мною.

Вдруг я перестал слышать мерное дыхание Марии. Я тихонько приподнял голову. Она лежала не шевелясь, не сделав даже движения, чтобы откинуть упавшие на лицо волосы. И хотя она не могла не чувствовать на себе мой пристальный взгляд, она, не моргая, смотрела в одну точку. Я понял, что она давно не спит, и моя тревога переросла в страх, железным обручем сдавивший сердце. «Но, может быть, мои плохие предчуЕствия не имеют никакого основания? И я только зря омрачаю самый светлый день своей жизни?» - подумал я, и эта мысль усугубила мою тоску.

- Вы уже проснулись? - спросила она, не поворачивая головы.

- Да… А вы давно проснулись?

- Нет, только что…

Я встрепенулся. Для моего слуха давно не было музыки отраднее, чем звук ее голоса. Вот и сейчас, показалось мне в первый миг, он пришел мне на помощь, как верный друг. Но почему она обратилась ко мне на «вы»? В последнее время мы говорили друг другу то «ты», то «вы». Но так обращаться ко мне после того, что произошло? Может быть, она еще дремлет?

Повернувшись ко мне, она неожиданно улыбнулась. Но не обычной своей дружеской, открытой улыбкой, а скорее улыбкой, которой одаряла посетителей «Атлантика» .

- Ты встаешь? - спросила она.

- Встаю!.. А ты?

- Не знаю... Я что-то неважно себя чувствую. Все тело ломит. Может быть, я слишком много выпила? И спина что-то болит...

- Наверно, ты простудилась вчера... Выскочила на улицу в одном платье.

Неопределенно пожав плечами, она снова отвернулась.

Я поднялся, ополоснул лицо и быстро оделся. Она краешком глаза следила за каждым моим движением.

- Что это мы молчим? Или уже надоели друг ДРУГУ, как давно поженившиеся люди? - попытался я пошутить.

Она недоуменно посмотрела на меня. Под ее взглядом я совсем сник. Подойдя к ней поближе, я хотел обнять ее, чтобы разбить лед, пока он не успел окончательно затвердеть. Но она приподнялась, спустила ноги с кровати, набросила на плечи легкую кофточку, все это время не отрывая от меня глаз. Что-то в выражении ее лица не позволило мне выполнить свое намерение.

- Почему ты такой скучный? - спросила она странно спокойным голосом. Ее бледные щеки внезапно залил необычный румянец. Дыхание стало тяжелым и прерывистым. - Чего ты еще хочешь? Чего можешь еще пожелать? Ничего, - продолжала она. - А вот я хочу еще многого! Очень многого! Ты наконец можешь быть доволен! А что делать мне?

Голова ее упала на грудь. Руки повисли как плети. Ступни ног покоились на коврике. Большой палец был приподнят кверху, остальные поджаты.

Придвинув стул, я сел напротив. Схватил ее за руки и тихо произнес:

- Мария!..

В моем голосе слышалось волнение человека, боящегося утратить самое дорогое, смысл всей жизни.

- Мария! Моя мадонна! Что с тобой? Чем я перед тобой виноват? Я обещал, что не буду от тебя ничего требовать. И сдержал свое слово. Подумай сама, что ты говоришь. И в ту минуту, когда мы стали так близки друг другу, как никогда раньше.

- Нет, нет! - Она замотала головой. - Мы стали не ближе, а дальше друг от друга. Теперь уже у меня не остается никаких надежд. Это конец... Я сделала последнюю попытку. Думала, может быть, именно этого нам и не хватает... Но внутри у меня все та же пустота. Ты ни в чем не виноват. Просто я тебя не люблю. Но мне жаль, что я не могу тебя полюбить. И не только тебя - никого

другого… Теперь у меня не остается никаких надежд… Что-либо изменить не в моих силах. Уж такая я есть. Тут ничего не поделаешь. Как я старалась перебороть себя! Как старалась!.. Раиф! Мой хороший, мой добрый друг! Поверь, мне хотелось бы побороть себя не меньше, чем тебе, даже больше. И вот чем это кончилось! Я не чувствую сейчас ничего, кроме перегара во рту да сильной боли в спине.

Она замолчала. Закрыла глаза - и лицо ее вдруг стало удивительно мягким.

- Знаешь, о чем я мечтала вчера вечером, когда мы сюда шли? - заговорила она тем задушевным голосом, которым рассказывают детям сказки. - Я думала, что преображусь, как от прикосновения волшебной палочки. Верила, что мое сердце наполнится самыми чистыми, необыкновенно сильными, способными захватить всю мою жизнь чувствами. Пройдет ночь, надеялась я, и мир станет для меня иным. И что же я увидела, проснувшись? Такое же хмурое, как обычно, серое небо… Так же сыро и холодно в комнате… Рядом со мной - чужой человек. Чужой - и, несмотря на недавнюю близость, далекий.

Она опять легла на спину и, закрыв рукою глаза, продолжала:

- Стало быть, люди могут сближаться только до определенной границы. Стоит переступить ее, и каждый дальнейший шаг ведет к отчуждению. А я так хотела, чтобы между нами не было никакой границы, никаких преград! И больше всего я расстроена тем, что надежды эти не сбылись. Зачем себя обманывать? Мы уже не сможем быть такими откровенными, как прежде. Не сможем больше бродить по городу, как два друга. И ради чего мы пожертвовали своим счастьем? В погоне за тем, чего мы были лишены, мы потеряли и то, что у нас было. Неужели же всему конец? Надеюсь, что нет. Мы уже не дети и не должны вести себя по-детски. Нам надо отдохнуть друг от друга, побыть врозь. Хотя бы до тех пор, пока не ощутим вновь неодолимую потребность увидеться. А теперь уходи, Раиф. Я тебя сама отыщу, когда придет время. И, может быть, мы опять сможем быть друзьями, только на этот раз мы будем вести себя благоразумнее. Не будем ждать и требовать друг от друга того, чего дать не можем… Уходи, пожалуйста, Раиф! Мне так хочется побыть одной…

Она отняла ладонь от глаз и умоляюще взглянула на меня. Я пожал кончики ее пальцев и тихо сказал:

- Что ж, до свидания!

- Нет, нет! - закричала она. - Я не хочу, чтобы мы так расстались. У тебя обиженный вид. Но ведь я не сделала тебе ничего плохого?

- Я не обижен, просто опечален, - ответил я.

- Но разве ты не видишь - и я опечалена! Не уходи так!.. Подойди ближе!

Она притянула меня к себе, погладила мои волосы и на миг прижалась ко мне щекой.

- Улыбнись! - попросила она. - Улыбнись мне хоть раз - и уходи!

Я изобразил улыбку и, закрыв лицо руками, выскочил из ее квартиры.

На улицах города было еще безлюдно. Большинство магазинов и лавок не успели открыть. Мимо меня проносились почти пустые трамваи и автобусы с заиндевевшими стеклами. Я шел куда глаза глядят. По пути все чаще попадались дома с почерневшими фасадами. Асфальт сменился брусчаткой, потом - булыжником... Я продолжал идти. От ходьбы мне стало жарко - и я расстегнул пальто. Вскоре город остался позади. Я пересек несколько каналов по льду, миновал железнодорожный мост. От мороза ресницы мои заледенели, и я все ускорял шаг, почти уже перешел на бег. С обеих сторон меня обступали сосновые посадки. С ветвей деревьев падали комья снега. Меня обогнали несколько велосипедистов. Где-то вдалеке простучал колесами поезд. Я шел, ни о чем не раздумывая. Немного погодя я увидел справа от себя замерзшее озеро и катающихся на льду людей. Я повернул в ту сторону. Небольшой лесок, через который пролегал мой путь, был весь исчерчен пересекающимися тропками. Маленькие, посаженные совсем еще недавно сосенки трепетали под тяжестью снега. Они походили на стройных девочек в белых пелеринах. Наконец я вышел к озеру, на берегу которого стоял деревянный двухэтажный дом - гостиница с рестораном.

По ледяной глади скользили девушки в коротких юбках и парни в гольфах. Кто стремительно мчался большими кругами, кто вертелся на месте. Несколько парочек, взявшись за руки, катались за мысом. Размеренно покачивались их молодые стройные тела. По ветру развевались пестрые шарфы девушек и светлые волосы парней.

Проваливаясь почти по колено в снег, я прошел вдоль берега и, обогнув ресторан, направился к небольшому лесочку, смутно припоминая, что однажды уже бывал здесь, но когда и как называется это место - не мог бы сказать.

На пригорке, в двухстах - четырехстах метрах от ресторана, я остановился под старым деревом и стал наблюдать за конькобежцами.

Вероятно, я шел уже не менее четырех часов. Я и сам не знал, зачем пришел сюда, почему не повернул назад. Но голова моя болела уже не так сильно. Тело не жгло, как от комариных укусов. И только в душе была ужасающая пустота. Самые яркие, испол-

ненные, как мне казалось, глубочайшего значения дни моей жизни неожиданно оказались позади. Близкие уже к осуществлению заветные мечты рухнули, и действительность предстала передо мной во всей своей неприглядности.

Но я не чувствовал никакой обиды, никакой злобы, только печаль. Именно так и должно было случиться. Ведь она меня совершенно не любила. Да и за что меня любить? Никто еще меня никогда не любил. А женщины странные существа. Мой хотя и небогатый жизненный опыт привел меня к выводу, что женщины вообще не способны любить. Женщины вечно сожалеют о несбывшихся желаниях и утраченных возможностях, стараются всячески утвердить свое ущербное самолюбие, - и все это представляется им проявлениями любви. Не успел я так подумать, как понял, что несправедлив к Марии. Что бы ни произошло между нами, в ней нет ничего от подобных женщин. Она страдает совершенно искренне. И не только потому, что ей жаль меня. Видимо, она не нашла во мне того, что искала. Но что именно она искала? Чего не хватает ей во мне, вернее сказать, в наших с ней отношениях? Трудно понять женщину. Ты думаешь, что она отдала тебе все, а она не отдала тебе решительно ничего. Ты считаешь ее самым близким себе человеком, а она бесконечно далека от тебя. Горько даже думать об этом.

А ведь все могло быть иначе… Могло быть… Но Мария права: изменить уже ничего нельзя. Любые мои усилия, во всяком случае, не приведут ни к чему хорошему…

Но по какому праву она так обошлась со мной? До сих пор я не сознавал пустоты своей жизни. Одиночество представлялось мне пусть мучительным, но естественным состоянием. Я и не предполагал, что у меня могут быть какие-то радости. Так я жил до того часа, когда увидел Марию - точнее, ее портрет. Она вывела меня из мрака на свет, - и я понял, что есть другая, настоящая жизнь. Только тогда я наконец понял, что и во мне есть духовное начало. И вот Мария покинула меня с той же неожиданностью, с которой вошла в мою жизнь. Но я уже не могу погрузиться в обычную свою спячку. Отныне до самого своего последнего дня мне предстоит скитаться, знакомиться с людьми, говорящими на языках, мне известных и неизвестных, и везде, во всех искать Марию Пудер, мадонну в меховом манто. Я уже заранее знал, что мне ее не найти. Но отказаться от поисков было свыше моих сил. Всю жизнь я буду обречен искать нечто несуществующее. Таков ее приговор, и все же я не могу понять, за что она осудила меня на такие муки!

Будущее рисовалось мне в самом мрачном свете. И ради чего мириться с жалким существованием? Ради чего? Внезапно мысли

мои прояснились, и - как будто пелена спала с моих глаз - я узнал место, куда привели меня долгие блуждания. Это же озеро Ванзее! Однажды, когда мы ехали на поезде в Потсдам, чтобы осмотреть Сан-Суси Фридриха Второго, Мария показала мне из окна вагона этот холм и поведала о том, как более века тому назад здесь покончили самоубийством несчастный поэт Клейст и его возлюбленная.

Что же привело меня именно сюда? Почему я выбрал это направление сразу же, как только вышел из дому? Та, которой я верил больше всех на свете, сказала мне, что двое людей могут сблизиться только до определенной границы. Может быть, я пришел сюда не случайно? Не опровергает ли ее слова добровольная смерть двоих любящих? Может быть, я хотел обрести утраченную веру, напомнить себе, что любовь не всегда останавливается на полпути? Не знаю. Мне трудно восстановить теперь ход своих мыслей. Помню только, что внезапно у меня подкосились ноги. С необыкновенной ясностью я увидел перед собой два мертвых тела. Струйки крови, как и их судьбы, слились навсегда воедино. Вот они, возлюбленные, передо мной - и вместе!

Я бросился бежать назад.

С озера доносился веселый смех. Парни и девушки, поддерживая друг друга за талию, продолжали кататься. И, казалось, это начало их совместного нескончаемого путешествия. Дверь ресторана то и дело распахивалась, и оттуда доносились звуки музыки и топот танцующих. Туда тянулись уставшие парочки - одни, чтобы согреться и выпить стаканчик грога, другие, вероятно, потанцевать.

Все веселились, наслаждались жизнью. А я? Моя замкнутость, сосредоточенность в себе отнюдь не доказывают превосходства над ними. Скорее наоборот. Невелика заслуга - держаться особняком от людей; ведь все живут по законам этого мира, выполняют свой долг, что-то создают. А что представляю собой я? Никчемный, бесполезный человек, которого грызет червь сомнений. Эти деревья, облепивший их свет, этот деревянный дом, граммофон, это озеро, окованное льдом, наконец, эти люди, все они приносят хоть какую-то пользу. В их существовании есть некий - пусть на первый взгляд и неприметный - смысл. Я же качусь неизвестно куда, словно сорвавшееся с оси колесо, и еще пытаюсь оправдать себя. Нет никаких сомнений, что я абсолютно ненужный человек. Лишившись меня, мир ничего не утратит. Никто не ждал от меня ничего хорошего, да и я не ждал ни от кого добра. Должно быть, именно тот момент, когда я пришел к такому выводу, стал поворотным пунктом в моей жизни. Именно тогда я полностью убедился в своей бесполезности и никчемности. Лишь изредка у

меня появлялось ощущение, будто я еще способен жить полнокровной жизнью. Но через несколько дней оно снова растворялось в мысли о собственном ничтожестве. От этой мысли я уже так и не смог избавиться. Даже теперь, по прошествии стольких лет, я хорошо все помню, особенно тот миг, который навсегда сломил мое мужество и обрек на полное одиночество. Мне ясно, что и тогда я не ошибся в вынесенном себе приговоре.

Я почти бегом выбрался на шоссейную дорогу и зашагал в сторону Берлина. За весь день я не съел даже корки хлеба, но не чувствовал голода, только легкое поташнивание. Погруженный в свои невеселые думы, я с трудом волочил словно налитые свинцом ноги. И чем ближе я подходил к городу, тем сильнее становилось мое отчаяние. Трудно, даже невозможно смириться с мыслью, что отныне я вынужден жить без нее, без той, которую люблю. Как нелепо все это получилось! Но как бы тяжело мне ни было, я не пойду просить милостыню. Унизительно, да и бессмысленно… А что, если покончить самоубийством? Вот тогда она ^будет раскаиваться и казнить себя до конца своей жизни. Я кровью впишу в ее сердце память о себе, и она никогда уже не сможет меня забыть.

Когда я добрался до города, уже начинало вечереть. Сначала я шел по знакомым улицам, проходил под запомнившимися мне эстакадами. Потом опять потерял ориентировку. Немного погодя я зашел в небольшой парк и присел на скамейку. Что-то жгло мне глаза. Откинув голову, я поднял взгляд к небесам. Ноги от стужи задеревенели, но я продолжал сидеть. Час шел за часом, и тело постепенно сковывало онемение. Заснуть бы сейчас - и пусть этот сон перейдет в смерть. Узнает ли только об этом когда-нибудь Мария? А если узнает, то действительно ли будет раскаиваться?

Мои мысли обращались к ней снова и снова. Я поднялся и зашагал дальше. До центра города нужно было идти, по крайней мере, еще несколько часов. По пути я разговаривал сам с собой. И все время мысленно обращался к Марии. Как и в первые дни нашего знакомства, в голову мне приходили самые веские доводы. Они облекались в волнующие, проникновенные слова, которые - услышь их Мария - непременно переубедили бы ее. Дрожащим голосом, со слезами на глазах я доказывал ей бессмысленность разлуки в этом пустынном мире, где так трудно найти близкого человека. А она - я так ясно видел ее перед собой - сначала не могла поверить, что я, обычно такой спокойный, уравновешенный и покладистый, способен на столь бурное проявление чувств! В конце концов она вдруг улыбнулась, притронулась к моей руке и сказала: «Ты прав, Раиф!»

Тут я понял, что обязательно должен ее увидеть, рассказать ей все, о чем сейчас думаю. Я должен заставить ее изменить неожиданное решение, с которым так легко утром примирился. Может быть, она даже обиделась, что я так безропотно подчинился. Я во что бы то ни стало должен ее увидеть - и немедленно, сегодня же вечером.

Часов до одиннадцати я проблуждал по городу, потом стал ждать ее у «Атлантика», но она не появилась. Наконец я спросил о ней швейцара в позолоченной ливрее. «Сегодня я ее не видел», - ответил он.

Я подумал, что она всерьез заболела, и чуть не бегом поспешил к ее дому. Свет в ее окнах не горел.

Спит, наверное? Не осмелившись ее беспокоить, я возвратился в свой пансион.

Три дня точно так же я ждал ее около «Атлантика», затем шел к ее дому и, увидев темные окна, снова брел к себе в пансион, не решаясь что-либо предпринять. Днем я сидел в своей комнате и механически, не различая даже отдельных букв, пробегал глазами страницы книги. Иногда, поймав себя на невнимательности, я начинал перечитывать уже прочитанное, но через несколько строк вдруг обнаруживал, что мои мысли опять витают далеко. Днем я воспринимал ее решение как окончательное и был убежден, что мне не остается ничего, кроме ожидания. Но с наступлением темноты мое воображение разыгрывалось и лихорадочно рисовало картины, одна другой страшнее. В конце концов, не в силах владеть собой, я выскакивал из пансиона, искал ее на пустынных улицах, кружил около ее дома. Расспрашивать швейцара в ливрее я не решался и наблюдал за входом в кабаре издалека. Так прошло четыре дня и ночи. Каждую ночь я видел ее во сне, и она была мне еще ближе, чем прежде.

На пятый день я позвонил в «Атлантик». Мне сказали, что Мария Пудер уже несколько дней как больна. Значит, она в самом деле заболела? Как я мог в этом сомневаться, как мог искать подтверждений? Что могло быть нелепей предположения, будто она стала ходить на работу в другое время, чтобы избежать встречи со мной, и предупредила, возможно, швейцара. Я направился к дому Марии, решившись даже разбудить ее, если она спит. В конце концов характер наших отношений дает мне право на это. Да и вообще мне не следует придавать слишком большое значение сцене, последовавшей за обильным возлиянием в ресторане!

Я взбежал по лестнице и, не оставляя себе времени на размышления, нажал кнопку звонка. За дверью не было слышно никакого шума. Я позвонил еще несколько раз, уже более настойчиво. Наконец приоткрылась дверь напротив, и оттуда раздался недо-

вольный голос разбуженной служанки:

- Вам кого?

- Жильцов из этой квартиры!

- Там никого нет! - проворчала она, смерив меня с головы до ног подозрительным взглядом.

Сердце мое учащенно забилось.

- Они переехали в другое место?

Заметив мое волнение, служанка слегка смягчилась.

- Нет, - ответила она, покачав головой. - Мать еще не вернулась из Праги, а Мария заболела. Ухаживать за ней было некому, и доктор поместил ее в больницу.

Я подбежал к девушке.

- Чем она заболела?.. Тяжело?.. В какую больницу ее положили?.. Когда?..

Ошеломленная градом моих вопросов, девушка сделала шаг назад.

- Что вы кричите? Разбудите всех в доме! - сказала она. - Ее увезли два дня назад. Кажется, в больницу Шарите.

- А чем она больна?

- Не знаю!

Даже не поблагодарив девушку, которая смотрела на меня, как на сумасшедшего, я, перепрыгивая через несколько ступенек, помчался вниз. У первого попавшегося полицейского я выяснил, где находится больница Шарите. При виде огромного, длиной в несколько сот метров каменного здания я невольно содрогнулся. Потом, отбросив колебания, решительно направился к входной двери. Но что можно было узнать от ночного сторожа? На всякий случай он был подчеркнуто любезен со странным посетителем, который явился так поздно, да еще в такой холод. Однако он, естественно, ничего не знал. На все мои вопросы у него был один ответ: «Приходите завтра в девять - вам все скажут!»

До самого утра прохаживался я вдоль высокой каменной стены и все время думал о Марии. Только в ту ночь я до конца осознал, как ее люблю и какие прочные узы связывают меня с ней. Глядя на темные или тускло-желтые окна больницы, я пробовал угадать, в какой палате находится Мария; у меня было одно желание: оказаться с ней рядом, ухаживать за ней, вытирать пот с ее горячего лба. В ту ночь я понял, что человек иногда может быть привязан к другому сильнее, чем к самой жизни. Случись мне потерять Марию - и я буду похож на пустой, вылущенный орех.

Ветер гнал порошу вдоль улицы, и снег залеплял мне глаза. Кругом не было ни души. Лишь временами в ворота въезжала карета «скорой помощи», но через несколько минут она снова спешила на очередной вызов. Столкнувшись со мной дважды,

полицейский подозрительно посмотрел на меня. В третий раз он поинтересовался, что я здесь делаю. Я объяснил, что пришел навестить больную. Он посоветовал мне пойти отдохнуть и вернуться утром, в часы приема. Когда мы встретились с ним в четвертый раз, он прошел мимо молча - только с сочувствием покосился на меня.

Начинало светать, и улицы постепенно оживлялись. Машины сновали все чаще и чаще. Ровно в девять я был у дежурного врача. День был неприемный, но, сжалившись надо мной, он разрешил навестить больную.

Мария лежала в одноместной палате. Сопровождавшая меня медицинская сестра сказала, что у Марии воспаление легких. Не очень, по мнению врачей, опасное, - однако мне не следует задерживаться и утомлять больную. Мария встретила меня улыбкой. Но тут же в ее глазах появилось выражение беспокойства. Едва сестра вышла, она с тревогой спросила:

- Что с тобой, Раиф?

Голос у нее ничуть не изменился. Но лицо заметно побледнело и осунулось.

- Скажи сперва, что с тобой?..

- Ничего страшного… Пройдет… а вот у тебя очень утомленный вид.

- Только вчера вечером я узнал в «Атлантике», что ты больна. Пошел к тебе домой, служанка сказала, что ты здесь. Ночью к тебе не пустили. Пришлось дожидаться утра.

- Где же?

- Здесь… Возле больницы…

Она окинула меня пристальным, серьезным взглядом. Видимо, хотела что-то сказать, но передумала.

Дверь приоткрылась. В палату заглянула сестра. Я попрощался с Марией. Она кивнула мне головой, на этот раз уже без улыбки.

Мария пролежала в больнице двадцать пять дней. Возможно, ее продержали бы там и дольше, но она уговорила докторов отпустить ее, сославшись на то, что ей очень тоскливо, а дома за ней будет хороший уход. Ей дали множество рекомендаций, выписали кучу рецептов и, наконец, отпустили домой. Как прошли эти двадцать пять дней, я точно не помню. Надо полагать, что все это время я проторчал в больнице. Я безумно боялся потерять Марию. Один вид свесившейся с кровати руки бросал меня в холодный пот. Во всем - даже в ее улыбке - мне чудилась угроза близкой смерти. Что, если сбудутся худшие мои опасения? Тогда и мне незачем жить!

Как только Мария почувствовала себя немного лучше, она попросила:

- Поговори с врачами, пусть меня выпишут. - И совсем по-будничному добавила: - Ты ведь за мной присмотришь!

Я бросился разыскивать лечащего врача. Он посоветовал оставить Марию в больнице еще на несколько дней, и мы согласились.

Наконец на двадцать пятый день я закутал ее в манто и бережно вывел на улицу. Мы доехали до ее дома на такси. По лестнице поднимались все втроем, шофер поддерживал ее с одной стороны, я с другой, - и все-таки, когда она с моей помощью разделась и легла в кровать, на нее жалко было смотреть.

С того дня ухаживал за ней только я. С утра приходила пожилая женщина, убирала комнату, растапливала большую изразцовую печь и готовила для больной еду. Все остальное время мы были вдвоем. Несмотря на мои настояния, Мария ни за что не соглашалась вызвать мать. Дрожащей рукой она писала ей: «Чувствую себя хорошо, живи там всю зиму и обо мне не беспокойся!»

- От нее все равно никакой помощи не будет, - объясняла мне Мария. - За ней самой нужно присматривать... Только себе и мне разбередит душу!

Потом, помолчав, тихо спрашивала, с тем же отрешенным выражением лица:

- Ты, по-моему, сам прекрасно справляешься, или, может быть, тебе надоело?

Она говорила совершенно серьезно, без тени улыбки. За все время болезни она улыбнулась всего один раз, в тот день, когда я впервые пришел в больницу. С тех пор ее лицо упорно сохраняло напряженно-сосредоточенное выражение. Обращалась ли она с какой-либо просьбой, благодарила ли или просто разговаривала со мной, у нее был неизменно задумчивый и серьезный вид. Я просиживал у ее изголовья до поздней ночи и уходил, чтобы вернуться рано утром. Потом я стал ночевать на большом диване.

О происшедшей после новогодней ночи ссоре - вернее, размолвке - никто из нас не проронил ни слова. Все же последующее - то, что я навещал ее в больнице, что привез домой, что живу у нее, - воспринималось как нечто совершенно естественное, не требующее никакого обсуждения. Мы оба избегали разговоров на эту тему. Но, само собой разумеется, она не могла не задумываться о наших отношениях. Что бы я ни делал - ходил ли по комнате, занимаясь хозяйственными делами, или читал ей вслух, я постоянно чувствовал, что меня преследует ее взгляд. Она будто старалась отыскать во мне что-то не замеченное ею прежде. Однажды вечером при свете настольной лампы я читал ей повесть Якоба Вассермана (*Якоб Вассерман (1873 - 1934) - австрийский новеллист*) «Нецелованные уста». В ней рассказывалось о старом учи-

теле, который за всю свою жизнь никогда не испытал любви и жил в вечном ожиданий ее, хотя и боялся признаться в этом даже самому себе. Автор мастерски описал его одиночество, изобразил, как в наглухо замкнутом сердце рождаются и умирают мечты. Когда я закончил чтение, Мария долго лежала молча, с закрытыми глазами. Затем, повернувшись ко мне, спросила безучастным голосом:

- Чем ты занимался после того, как мы расстались?

- Ничем! - ответил я.

- В самом деле - ничем?

- Не помню…

Снова воцарилось молчание. Итак, она впервые коснулась запретной темы. Ее вопрос меня удивил, Более того, я давно его ждал. Но вместо объяснений я предложил ей поесть. Накормив ее, я поправил на ней одеяло и сел рядом.

- Почитать еще? - спросил я.

- Как хочешь!

Обычно после еды я всегда читал что-нибудь поскучнее, чтобы она быстрее уснула. Но на этот раз, после недолгих колебаний, я вдруг сказал:

- А не рассказать ли тебе, чем я занимался первые пять дней нового года - это тебя быстро усыпит!

Она даже не улыбнулась на мою шутку - только кивнула головой. Я заговорил медленно, напрягая память, чтобы восстановить все, как было. Рассказал ей о том, как вышел из ее дома, как блуждал по улицам города и наконец очутился у озера Ванзее. О том, что я там видел и что передумал. О том, как я ходил по ночам вокруг ее дома, а когда узнал, что она в больнице, поспешил туда и до утра ожидал возле ворот. Я говорил тихим, спокойным голосом, словно все это происходило не со мной, а с кем-то другим. Задерживался на подробностях, анализировал тогдашние свои чувства. Она слушала меня с закрытыми глазами. Я даже думал, что она, может быть, спит. Но все-таки продолжал. Очевидно, мне нужно было вернуться к прежним своим мыслям и переживаниям, чтобы лучше их понять и осмыслить. Лишь когда я упомянул о том, как хотел позвонить по телефону, чтобы с ней проститься, она пристально посмотрела на меня и снова закрыла глаза. Лицо ее по-прежнему оставалось непроницаемым.

Я ничего от нее не скрывал. В этом и не было необходимости, ибо я не преследовал никакой определенной цели. Казалось, все, что я тогда пережил, принадлежит далекому прошлому. Я говорил начистоту, без каких-либо задних мыслей или расчетов и был совершенно беспристрастен в своих суждениях о себе и о ней. Все горькие жалобы и мольбы, которые приходили мне на

ум, когда я ждал ее на улице, окончательно позабылись, - и я даже не вспоминал о них. У меня не было другого желания, кроме как выговориться. Рассказать обо всем по порядку - так, как это происходило на самом деле. И, хотя Мария даже не шевелилась, я был уверен, что слушает она очень внимательно. От меня не укрылось, как дрогнули у нее веки, когда я упомянул, как тяжело было увидеть ее в больнице, как я испугался за ее жизнь.

Закончив рассказ, я замолчал. Молчала и Мария. Минут через десять она открыла глаза и, повернувшись ко мне, впервые за долгое время едва заметно улыбнулась (а впрочем, может быть, это только мне показалось).

- Ну что ж, пора спать? - спокойно сказала она.

Я приготовил себе постель, разделся и погасил свет. Однако я никак не мог уснуть. Мария, видимо, тоже не спала. И хотя веки у меня отяжелели, я решил все-таки сначала дождаться, когда ее дыхание, как обычно, станет размеренным и ровным. Борясь с дремотой, я все время ворочался. Но сон оказался сильнее меня.

Проснулся я очень рано. В комнате было еще темно. Сквозь щель между занавесками пробивался слабый сумеречный свет. Равномерного дыхания по-прежнему не было слышно. Значит, она не спит? В комнате стояла напряженная тишина. Мы оба чего-то ждали. В нас как бы отстаивались невысказанные еще чувства, - я без труда угадывал это... Когда же она проснулась? А может быть, вообще не спала? Мы оба лежали неподвижно, но атмосфера в комнате, казалось, насыщена была током наших мыслей.

Я медленно поднял голову, и, успев привыкнуть к темноте, мои глаза различили Марию: она сидела, опершись спиной на подушку, и смотрела на меня.

- Доброе утро! - сказал я и, вскочив с постели, пошел умываться.

Вернувшись в комнату, я застал Марию в том же положении. Я раздвинул занавески, убрал светильник, привел в порядок свою постель, напоил Марию молоком. Потом открыл дверь служанке.

Все это я проделал молча, не обмолвясь с ней ни словом. У меня выработался уже привычный распорядок дня. Утром я занимался домашними делами, затем отправлялся на фабрику, к обеду возвращался домой, вечерами читал Марии газету или книгу, рассказывал обо всем, что видел и слышал. Этот распорядок сложился сам собою, и я только включился в естественный ход событий. Никаких особых желаний я не испытывал. Не думал ни о прошлом, ни о будущем - жил только настоящим. И сердце мое было спокойно, как море в тихий безветренный день.

Я побрился, оделся и, как обычно, хотел попрощаться с Марией. Но она меня остановила:

- Ты куда собираешься?

- Неужели не знаешь? - удивился я, - На фабрику!

- А ты мог бы сегодня не пойти?

- Конечно. Но в чем дело?

- Не знаю... Просто мне хочется сегодня, чтобы ты был рядом!

Я принял ее просьбу за прихоть больной, но решил остаться. Взял с кровати положенные туда служанкой утренние газеты и начал их просматривать.

Мария была в каком-то странном настроении. Она явно была взволнована. Я отложил газеты, подошел к ней и, приложив руку к ее лбу, спросил:

- Как ты себя чувствуешь?

- Хорошо... Прекрасно!..

Хотя она не сделала никакого жеста, я интуитивно почувствовал, что мое прикосновение ей приятно. Ее лицо, казалось, притягивало мою руку.

- Прекрасно? Почему же ты не спала всю ночь? - спросил я как можно более спокойным голосом.

Мой вопрос застал ее врасплох. Лицо ее залилось краской. Чувствовалось, что она борется с собой - отвечать или не отвечать. Она закрыла глаза и, откинувшись назад, как будто ее вдруг покинули последние силы, произнесла еле внятно:

- Ах, Раиф!..,

- Что с тобой? - испугался я.

- Ничего! - ответила она, овладев собой. И после небольшой паузы, учащенно дыша, заговорила снова: - Я не хочу, чтобы ты сегодня оставлял меня одну. И знаешь почему? Боюсь, как бы то, о чем ты рассказывал вчера, не лишило меня всякого покоя.

- Знал бы, не стал рассказывать!

- Нет, нет! - замотала она головой. - Я беспокоюсь не за себя, а за тебя. И не хочу, чтобы ты был один... Да, ты прав. Я не спала всю ночь. Думала о тебе. И как будто видела воочию все, что с тобой происходило после того, как мы расстались. Видела даже то, о чем ты умолчал. Нет, нет, я не могу отпустить тебя. И не только сегодня.

На лбу у Марии проступили маленькие капельки пота. Я вытер их ладонью. И вдруг ощутил под рукой горячие слезы. Я удивленно посмотрел на Марию. Она улыбалась. Такой открытой, светлой улыбки я не видел на ее лице уже долгое время. Но из уголков глаз струились по щекам два ручейка слез. Я обхватил обеими руками голову Марии и положил к себе на плечо. Улыбка ее стала еще спокойнее, но слезы продолжали катиться градом.

Однако я не слышал ничего похожего на всхлипывание. До сих пор я даже не представлял себе, что можно так тихо и беззвучно

плакать. Я нежно погладил ее руку, покоившуюся, словно белая птичка, на белой простыне. Затем перебрал ее пальцы и согнул их в маленький кулачок. На внутренней стороне ее руки виднелись тоненькие, как на листьях деревьев, прожилки.

- Смотри устанешь! - сказал я и осторожно положил ее голову на подушку.

- Нет, нет! - горячо возразила она, а глаза ее еще ярче заблестели.

- Я знаю теперь, чего мне не хватало в наших отношениях, - заговорила она, снова приникнув головой к моему плечу. - И виновата только я одна. Мне недоставало веры. Я не могла поверить, что ты меня по-настоящему любишь, и сомневалась в своей любви к тебе. Только теперь я это поняла. Я утратила веру в людей. Но ты мне вернул эту веру, и я тебя люблю. Люблю тебя не до беспамятства, а отдавая полный отчет в своих чувствах. Ты для меня самый желанный человек на свете… Если бы только я могла перебороть свой дурной характер… Ты не знаешь, когда мне это удастся сделать?

Ничего не ответив, я отвернулся и незаметно смахнул набежавшую слезу.

До тех пор, пока она окончательно не поправилась, я все время был рядом с ней. И когда мне приходилось отлучаться за покупками или сходить в прачечную, несколько часов, проведенных вдали от нее, казались мне целой вечностью. Усаживая ее на диван или набрасывая ей на плечи кофточку, я испытывал безграничное счастье. Посвятить свою жизнь другому человеку - есть ли на свете большая радость? Мы часами сидели у окна, ни о чем не говоря, лишь изредка обмениваясь улыбками; на нее так сильно повлияла болезнь, а на меня - неожиданное счастье, что мы оба чувствовали себя детьми. Через несколько недель Мария немного окрепла. В хорошую погоду мы стали вместе прогуливаться, хотя и не очень долго, с полчаса, не больше.

Прежде чем выйти из дому, я следил, чтобы она потеплее оделась, сам натягивал ей на ноги чулки, потому что стоило ей наклониться, как она начинала кашлять. Потом я помогал ей надеть меховое манто, и мы осторожно спускались по лестнице. Пройдя шагов сто - сто пятьдесят, мы садились на скамейку, немного отдыхали. Дойдя до одного из тиргартенских прудов, мы любовались плавающими лебедями.

И вот в один день все рухнуло. Произошло это так неожиданно, так просто, что я даже не сразу осознал значение случившегося. Я был ошеломлен, расстроен, но даже не предполагал, что в моей жизни все так непоправимо переменится.

В последние дни я почти перестал заглядывать в пансион. Деньги за комнату я платил исправно, но хозяева стали относиться ко мне с холодком.

- Если вы живете теперь в другом месте, скажите нам, чтобы мы могли сообщить в полицию, - предупредила меня однажды фрау Хоппнер. - Мы не хотим иметь никаких неприятностей.

- Неужели я решусь когда-нибудь вас покинуть! - отшутился я и поспешил закрыться у себя в комнате. Эта комната, которую я занимал больше года, казалась мне теперь совершенно чужой. Ни безделушки, привезенные мной из Турции, ни разбросанные повсюду мои любимые книги не вызывали никаких чувств. Открыв один за другим чемоданы, я взял нужные мне вещи, завернул их в газету и хотел уже было уходить, как в дверь постучала служанка.

- Вам тут телеграмма. Три дня уже лежит, - сказала она, протягивая мне сложенную вчетверо бумажку.

Я рассеянно смотрел на девушку, не решаясь взять-

из ее рук телеграмму. Какое отношение к моей судьбе может иметь этот листок? Не читать ее - единственный способ отогнать нависшее над моей головой несчастье. Такова была моя первая реакция.

Служанка удивленно взглянула на меня и, видя, что я стою неподвижно, положила телеграмму на стол и вышла. Я тут же бросился к столу и судорожным движением распечатал телеграмму.

Она была от мужа сестры и содержала всего несколько слов: «Умер твой отец. Деньги на дорогу перевел. Немедленно приезжай». Все предельно просто и ясно. Но я долго еще глядел на телеграмму, по нескольку раз перечитывая каждое слово. Потом поднялся и, сунув под мышку приготовленный пакет, выскочил на улицу.

Ничто вокруг не изменилось. Мир остался таким же, каким был полчаса тому назад. Мария, вероятно, уже ждет меня, сидя у окна. Но я уже не тот, каким был. Где-то за тысячи километров отсюда умер человек. Прошло несколько дней, может быть, даже недель, но ни я, ни Мария ничего не почувствовали. Дни текут, ничем не отличаясь друг от друга. И вдруг небольшой, с ладонь, листок бумаги переворачивает всю жизнь, заставляет покинуть эти края, напоминает, что мое место не здесь, а там, откуда пришла телеграмма.

Теперь я хорошо понял, как глубоко ошибался, воображая, будто все эти месяцы живу в реальном мире, и надеясь, что моему счастью не будет конца. Однако истина была слишком горька, чтобы я мог ее принять. Так ли уж важно в конце концов, где ты

родился и чей ты сын? Важнее другое - чтобы не порвались узы, соединяющие двух людей, с таким трудом нашедших друг друга в этом враждебном мире. Все остальное - мелочи. Их надо уметь подчинить главному.

Но я прекрасно знал, что принимаю желаемое за действительность. Наша жизнь, к сожалению, игрушка в руках случая, и состоит она из незначительных на первый взгляд событий. Наша логика не совпадает с логикой реальности. Женщина высовывает голову из окна вагона. В глаз ей попадает ничтожная пылинка. Пустяковый, казалось бы, случай. Но он может привести к потере глаза… От дуновения ветра с крыши срывается черепица и разбивает голову человеку, разумом которого восхищался весь мир! Мы ведь никогда не задаемся вопросом, что важнее: пылинка или глаз, черепица или голова? Мы вынуждены просто мириться с неожиданностями. Точно так же мы должны безропотно переносить и многие другие прихоти судьбы.

Случаются порой события, которые мы не можем предотвратить. Нам трудно, невозможно доискаться до их причин. Но бывают и такие нелепые условности, которыми можно было бы и пренебречь. Ну что связывает меня с Хавраном? Несколько оливковых плантаций и мыловарен, да еще родственники, с которыми у меня довольно прохладные отношения. А здесь - все, что составляет смысл моей жизни. Почему же я не могу остаться? Да потому, что тогда в Хавране остановятся все дела, родственники не смогут присылать мне деньги, и я, не способный ни к какой работе, окажусь на мели. Есть еще много других обстоятельств: паспорт, посольство, вид на жительство. Мне трудно понять, зачем они вообще нужны, но в моей жизни они вполне могли сыграть роковую роль.

Выслушав меня, Мария некоторое время молчала. Она смотрела прямо перед собой с какой-то странной улыбкой. Выражение ее лица, казалось, говорило: «Так я и думала!» Боясь показаться смешным, я не давал воли своим чувствам. Но это мне стоило титанических усилий.

- Что же мне делать? Что делать? - повторял я.

- Что делать? Ехать. Да и я уеду. Работать я не скоро смогу. Поеду к матери под Прагу. Думаю, мне будет полезно пожить в деревне. Проведу там весну, потом видно будет.

Меня несколько удивило то, что она завела вдруг речь о своих планах.

- Когда ты собираешься ехать? - спросила она, искоса поглядев на меня.

- Не знаю… Как только получу деньги.

- Может быть, я раньше тебя уеду…

- Да?

Мое удивление рассмешило ее.

- Какой же ты еще ребенок, Раиф! Зачем удивляться и волноваться? Мы ведь все равно ничего изменить не можем. Времени у нас достаточно, успеем все обдумать - и обо всем договориться…

Я тут же ушел, чтобы совершить необходимые формальности и рассчитаться с хозяевами пансиона. Вернувшись под вечер, я увидел, что Мария уже приготовилась к отъезду.

- Зачем терять время попусту? - сказала она. - : Чем раньше я уеду, тем легче и тебе будет собираться в дорогу. А… к тому же, понимаешь ли… Как бы тебе объяснить?.. Я хочу покинуть Берлин до твоего отъезда… Почему - сама даже не знаю…

- Что ж, дело твое!..

Ни о чем другом мы не говорили. Не обмолвились даже и словом о том, что собирались с ней обсудить.

Она уехала на следующий день, вечерним поездом. После обеда мы никуда не выходили. Сидели у окна и смотрели на улицу. Обменялись адресами. Я обещал ей в каждое свое письмо вкладывать конверт с моим адресом. Арабских букв она, естественно, не знала (*До 1924 г. в турецком языке использовался арабский алфавит*), а наши почтальоны в Хавране - латинских.

Около часа мы проговорили о всяких пустяках; о том, что зима в этом году слишком затянулась - уже конец февраля, а на улицах все еще не стаял снег. Она явно хотела, чтобы оставшееся до отъезда время пролетело как можно скорее. Я же, напротив, мечтал лишь о том, чтобы оно остановилось, - только бы побыть еще вместе!

Разговор наш был поразительно бессвязен и бессмыслен. И всякий раз, когда встречались наши взгляды, мы недоуменно улыбались. Покидая дом, мы оба тяжело вздохнули. Время бежало неудержимо быстро. С двумя небольшими чемоданами в руках я проводил ее до вокзала Анхальтер. Когда мы разместили вещи в купе, она предложила выйти на перрон. Как один миг, пролетели еще двадцать минут. Мы оба хранили молчание, продолжая обмениваться растерянными улыбками. В голове у меня роились тысячи мыслей. Но времени для того, чтобы их высказать, оставалось так мало, что предпочтительнее было молчать. А ведь нам надо было высказать друг другу так много! Почему же мы расстаемся, как чужие?

В последние несколько минут Мария стала нервничать. Я был рад, заметив это. Стало быть, ее спокойствие напускное. Стало быть, она просто старается не выдать своих истинных чувств. Сжимая мою руку, она то и дело повторяла:

- Как все это нелепо получается!.. Зачем ты уезжаешь?

- Уезжаешь ведь ты, я остаюсь! - возразил я. Она как будто не слышала моих слов, только еще

сильнее уцепилась за меня.

- Раиф… Я сейчас уеду…

Прозвучал сигнал к отправлению поезда. Проводник приготовился уже закрывать двери вагона. Мария, вспрыгнув на подножку, тихо, но очень внятно произнесла:

- Как только ты меня позовешь, Раиф, я сразу же к тебе приеду!..

До меня не сразу дошел смысл ее слов. Помолчав одно мгновение, она добавила:

- Куда бы ты ни позвал, сразу же приеду! Только тогда я понял наконец, что она хотела

сказать. Я ринулся было к вагону, чтобы обнять и поцеловать ее на прощание, но поезд беззвучно тронулся. Мария прошла в свое купе и встала у окна. Некоторое время я бежал вслед за вагоном, махая ей рукой, но потом начал отставать и громко крикнул:

- Позову!.. Обязательно позову!

Она улыбнулась в ответ и кивнула головой, как бы говоря, что верит моему обещанию.

Сердце мое сжалось. Почему мы не договорились с ней обо всем еще накануне? Почему болтали о чем угодно - и о сборах, и о том, как приятно путешествовать, и о затянувшейся зиме, - но ни словом не коснулись самого главного? А может быть, так даже лучше! О чем тут, собственно, говорить? Результат все равно был бы тот же самый, Мария, пожалуй, нашла лучший выход… Несомненно… Обещание дано - и принято. Никаких обсуждений и споров. Что может быть прекраснее такого расставания! В сравнении с ним горьки и бесцветны все заготовленные мною, но так и не высказанные красивые слова.

Теперь я догадался, почему она решила уехать раньше меня. Ей было бы очень тяжело оставаться в Берлине после моего отъезда. Сборы, получение паспорта, билета, визы, - мне некогда было даже вздохнуть из-за всех этих хлопот, и все-таки у меня щемило сердце, когда я проходил по улицам, где мы когда-то вместе с ней гуляли. Однако, если вдуматься, нет причин для тоски. Я вернусь в Турцию, улажу свои дела и немедленно вызову ее к себе. Вот и все. Моя фантазия, как обычно, разыгралась. Я уже выбирал место на окраине Хаврана для постройки красивой виллы; представлял себе, как мы будем прогуливаться с Марией по тамошним лесам и холмам.

Через четыре дня, проехав Польшу и Румынию, я был уже в Турции. Об этом путешествии, так же как и о многих последующих годах, у меня не осталось никаких воспоминаний. О причине

своего возвращения в Турцию я задумался лишь после того, как сел в Констанце на пароход. При мысли о том, что я только сейчас осознал смерть отца как нечто реальное, меня охватил запоздалый стыд. Говоря по правде, у меня не было оснований питать к нему особую любовь. Между нами всегда ощущалась отчужденность. Спроси меня кто-нибудь: «Хорошим ли человеком был твой отец?» - я навряд ли смог бы ответить. Я слишком плохо знал его, чтобы судить о его характере. В нем как бы воплощалось некое абстрактное понятие, именуемое «отец». Мне трудно было соединить в один образ насупленного, лысого человека с округлой пепельно-серой бородой, который, являясь по вечерам домой, не находил ни одного приветливого слова ни для матери, ни для нас, - и жизнерадостного завсегдатая кофейни, где, заливаясь заразительным смехом, он часами пил айран (*Айран - прохладительный напиток из кислого молока*) или, отпуская смачные ругательства, азартно играл в нарды. Могу только сказать, что мне всегда очень хотелось, чтобы именно этот второй был моим отцом. А он, завидев меня около кофейни, сразу почему-то делал строгое лицо и начинал кричать:

- Что ты тут вертишься? Ладно, заходи, выпей стакан шербета и марш домой. Там наиграешься!

Даже после того как я вернулся домой из армии, его отношение ко мне ничуть не изменилось. Хуже того, чем умнее представлялся я самому себе, тем меньше он со мною считался. Каждый раз, когда я пытался высказать свое мнение, он поглядывал на меня с легким презрением. И если в последние годы он удовлетворял любое мое желание, то только потому, что не хотел опускаться до споров со мной.

И все-таки среди моих воспоминаний не было ничего, что могло бы осквернить образ покойного. Мне предстояло изведать не пустоту его жизни, а его отсутствие, - и чем ближе я подъезжал к Хаврану, тем тяжелее становилось у меня на душе. Мне трудно было представить и наш дом, и наш провинциальный городок без него.

Нет нужды затягивать рассказ. Я предпочел бы обойти молчанием последующие десять лет, но, по некоторым обстоятельствам, необходимо хоть несколько страниц уделить этому, пожалуй, самому бессмысленному периоду в моей жизни. В Хавране меня не ожидало ничего хорошего. Зятья откровенно надо мной посмеивались, сестры - чуждались, мать же была совсем беспомощна. Дом был заколочен, мать жила у моей старшей сестры. Никто не пригласил меня к себе, и я поселился в просторном старом доме вместе с пожилой женщиной, нашей бывшей прислугой. Когда я выразил намерение заняться делами, мне сказали,

что незадолго до своей смерти отец разделил все имущество. Какая доля досталась мне, я так и не смог выяснить у своих зятьев. О двух мыловаренных фабриках все помалкивали. Мне удалось только узнать, что одну из них отец якобы продал моему зятю. По слухам, у отца было много наличных денег и золота, но от всего этого не осталось и следа. Мать тоже не могла толком ответить на мои расспросы.

- Откуда мне знать, сынок? - твердила она. - Твой отец так и не сказал, где их зарыл. В последние дни его жизни твои зятья не отходили от него ни на шаг. Он ведь не хотел верить, что умрет. Вот и не успел сказать, где спрятал деньги… Что теперь поделаешь? Надо обратиться к гадалкам. Они все знают…

Моя мать и в самом деле перебывала у всех хавранских гадалок. Она истратила последние деньги на рытье ям под оливковыми деревьями и подкопы в доме, однако денег, естественно, так и не нашла. Сестры тоже ходили с ней к гадалкам, но участия в расходах не принимали. От моего внимания не ускользнуло, что зятья лишь посмеиваются над бесконечными поисками якобы зарытых денег.

Ничего я не получил и с собранного урожая оливок. Взял только немного денег под залог будущего урожая. План мой был прост: кое-как протянуть лето, а затем осенью, когда начнется сбор оливок, приложить все усилия, чтобы поправить свои дела и сразу же вызвать Марию.

После моего возвращения в Турцию мы переписывались с ней очень часто. В пору весенней распутицы и в летнюю жару единственной отрадой среди пустых хлопот были те счастливые часы, когда я читал и перечитывал ее письма или же писал ей ответы. Приблизительно через месяц после моего отъезда она с матерью вернулась в Берлин. Свои письма я слал ей до востребования на почтовое отделение в Потсдаме. В самый разгар лета я получил от нее очень заинтриговавшее меня письмо. У нее для меня, писала она, есть радостная новость. Однако сообщит она мне эту но-вость, только когда приедет. (Я написал ей, что осенью надеюсь ее увидеть!) После этого я много раз спрашивал в своих письмах, что это за новость, но она ограничивалась одним ответом: «Наберись терпения, встретимся - узнаешь!»

Я терпеливо ждал. И не до осени, а все десять лет. Лишь вчера вечером я узнал, какова была эта «радостная новость». Но не буду забегать вперед. Все по порядку.

За лето я обошел пешком и изъездил все холмы и бугры, занятые моими оливковыми плантациями, не переставая удивляться, почему именно мне достались самые неплодородные, самые заброшенные участки. Зато все ближние, расположенные на рав-

нинной земле участки, где с каждого дерева можно было снимать по полмешка оливок, отошли к моим сестрам, вернее, моим зятьям. Осматривая свои плантации, я обнаружил, что большая часть деревьев спилена, а оставшаяся часть в чрезвычайно запущенном, можно сказать, в одичавшем состоянии; при отце, вероятно, никто даже не собирал там урожая.

Ясно было, что, воспользовавшись болезнью отца, беспомощностью матери и покорностью моих сестер, зятья обобрали меня. Но я трудился без устали в надежде поправить свои дела, и каждое письмо от Марии придавало мне воодушевления и сил.

В начале октября, в самый разгар сбора оливок, когда я хотел уже вызвать Марию, я вдруг перестал получать от нее письма. К тому времени я успел отремонтировать дом, установив в прежней комнате для омовения заказанную в Стамбуле ванну и выложив стены кафелем. Это, кстати сказать, навлекло на меня язвительные насмешки всех хавранцев и в первую очередь моей родни, которая не останавливалась перед прямыми оскорблениями.

Разумеется, я никому ничего не объяснял, поэтому меня обвиняли во всевозможных грехах: и в желании пустить пыль в глаза, и в слепом подражательстве европейцам, и даже в высокомерии. Человеку в моем положении покупать в кредит или на гроши, вырученные от продажи несобранного урожая, гардероб с зеркалом и ванну было в их глазах чистейшим безумием. Но над всеми этими разговорами я только посмеивался. Им никогда меня не понять. И я вовсе не обязан отчитываться перед ними.

Затянувшееся молчание Марии - уже дней двадцать, как от нее не было писем - повергло меня в смятение. И всегда-то недоверчивый, я строил тысячи предположений. Мое смятение переросло в отчаяние, когда и на последующие свои письма я не дождался ответа.

Тут я вспомнил, что получал письма от нее все реже и реже, и письма эти становились все короче. Казалось, будто написаны они через силу… Я разложил перед собой все ее письма эти и начал их внимательно перечитывать. В последних проскальзывали нотки растерянности, намеки и недомолвки, совершенно несвойственные прямому и открытому характеру Марии. У меня даже возникло подозрение: в самом ли деле она ждет моего вызова или, наоборот, боится его и мучается, не зная, как отказаться от слова, данного ею? Я уже находил скрытый смысл в каждой строке ее письма, даже в каждой шутке, и мне казалось, будто я схожу с ума.

Все мои письма к ней так и остались без ответа, а все худшие опасения оправдались. Больше я не слышал даже имени Марии Пудер… И вот вчера… Впрочем, не буду спешить… Через месяц все

отправленные мною письма вернулись назад с отметкой: «Не востребовано, возвращается отправителю». Последние надежды рухнули. Мне и сейчас трудно поверить, что всего за несколько дней человек может так измениться. Я разом утерял способность двигаться, видеть, слышать, чувствовать, думать, одним словом - жить. От меня осталась только одна оболочка.

Это состояние трудно было сравнить даже с моим состоянием после новогодней ночи. Тогда мной не владело такое беспросветное отчаяние. Я знал, что она где-то поблизости, я могу с ней увидеться, поговорить, попытаться переубедить. Но сейчас преодолеть разделявшее нас огромное расстояние было не в моих силах. Закрывшись в доме, я бродил из комнаты в комнату, перечитывал ее письма, а заодно и свои собственные, присланные назад, и с горечью старался уловить ускользавший от меня смысл некоторых фраз.

У меня пропал всякий интерес к делу, к жизни. Я поручил другим заниматься сбором оливок, их сортировкой и отправкой на фабрику. Если я и выходил иногда побродить по окрестностям, то старательно избегал встреч с людьми. Возвратясь домой поздно ночью, я валился на тахту и спустя несколько часов просыпался с одной и той же мыслью: «Зачем я еще живу?»

И опять потянулись такие же серые, пустые, бес-' цельные дни, как и до встречи с Марией, только гораздо более тягостные. Некогда я воспринимал подобную жизнь как нечто естественное, но теперь я знал, что другая жизнь возможна, и это усугубляло страдания. Я- перестал замечать окружающий мир, уверенный, что меня не ждет ничего радостного.

На какое-то очень недолгое время Мария избавила меня от вялости и беспомощности, внушила мне чувство мужского, вернее, человеческого достоинства, заставила осознать, что и во мне есть необходимые для жизни силы, что я отнюдь не такое ничтожество, каким считают меня другие. Но едва порвались связывавшие нас узы, едва я освободился от ее влияния, как опять впал в прежнее состояние. Вот когда я осознал со всей остротой, как она мне нужна! Мне не хватает самостоятельности, постоянно нужна опора. Я просто не могу жить без такой поддержки. И все же продолжал жить. Продолжал жить, если только можно это назвать жизнью.

Больше о Марии я ничего не слышал. В ответ на мое письмо хозяйка пансиона сообщила, что фрау ван Тидеманн у них уже не живет, поэтому она не может дать никаких сведений. К кому еще мог бы я обратиться? Мария писала, что после возвращения с матерью из Праги они поселились в другом доме. Ее нового адреса я не знал. Удивительно, как мало у меня было знакомств за два

года жизни в Германии! Кроме Берлина, я никуда не ездил. В этом городе, правда, я знал каждый закоулок. По всей вероятности, там не осталось ни одного музея или галереи, ни одного ботанического сада или зоопарка, которых я не посетил бы. И каждый пруд, рощу в его окрестностях я знал. Но из многих миллионов жителей этого города я общался лишь с несколькими людьми, а близко познакомился с одной-единственной женщиной.

Возможно, и этого было вполне достаточно. Каждому из нас нужен всего лишь один человек. Но если нет и одного? Что делать, если все в этом мире оказывается на поверку лишь порождением фантазии, обманчивым сном? Я окончательно утратил веру и надежду. В моей душе скопилось столько недоверия, столько горечи, что я стал бояться самого себя. В каждом человеке, с которым меня сталкивала судьба, я видел врага или, в лучшем случае, недоброжелателя. С годами моя настороженность не уменьшалась, а увеличивалась. Росла подозрительность, я избегал всех, кто делал хоть малейшую попытку сблизиться со мной. И больше всего я боялся тех, в ком находил нечто себе родственное. «Уж если она так со мной обошлась!» - твердил я себе. На вопрос, как она со мной поступила, я не мог бы дать точного ответа, но это не мешало мне выносить о людях самые строгие суждения, и я всегда ожидал от всех наихудшего.

«Чтобы освободить себя от обещания, нечаянно вырвавшегося перед разлукой, - думал я, - легче всего просто прекратить переписку. Не брать писем с почты! Не отвечать на них! Мало ли что было. Было, да прошло! У нее теперь, скорее всего, новое увлечение, ей распахнуло свои объятия другое, более светлое счастье. Ума ей не занимать. Какая же умная женщина только ради того, чтобы не нарушить данное наивному мальчику слово, отправится в неведомые края, пустится в рискованную авантюру!»

Но никакие доводы рассудка не могли заставить меня примириться с моим положением. Мне самому было непонятно, почему я так боюсь вступить на любую новую дорогу, которая открывается передо мной, почему с такой тревогой смотрю на каждого приближающегося ко мне человека, не ожидаю от него ничего, кроме зла. Лишь изредка, изменяя самому себе, тянусь я к какой-нибудь родственной душе. Но меня тотчас же останавливает ужасная мысль, как гвоздь засевшая в моей голове: «Берегись! Она была тебе ближе всех на свете. И так с тобой поступила!» Стоит мне заметить, что кто-то ищет со мной сближения, что во мне оживает надежда, как я мгновенно настораживаюсь. «Нет! Нет! - говорю я себе. - Мы были с ней так близки, что ближе и нельзя быть. И вот конец. Не верь, никому не верь!..»

Каждый день, каждый миг я чувствовал, как это ужасно - жить, никому и ни во что не веря! Но сколько ни старался я избавиться от этого чувства, ничего у меня не получалось… Я женился. И в первый же день нашей совместной жизни понял, что жена - самый далекий от меня человек… У меня появились дети. Я их люблю, но даже они никогда не смогут восполнить мне то, что я навечно потерял…

Я утратил всякий интерес к делам. Работал механически, ни о чем не задумываясь. Все меня обманывали, а я испытывал нечто вроде злорадного удовлетворения. Зятья считали меня круглым дураком, но я не обращал на это никакого внимания. Мои долги, проценты на них и свадебные расходы поглотили почти все, что у меня оставалось. Оливковые плантации не приносили никакого дохода. Богатые покупатели скупились: за дерево, которое каждый год могло приносить доход в семь-восемь лир, не давали и пол-лиры. Чтобы вызволить меня из затруднительного положения, под предлогом сохранения в целости семейного имущества, зятья уплатили мои долги и купили у меня за бесценок оливковые плантации. У меня не оставалось ничего, кроме полуразрушенного четырнадцатикомнатного дома и кое-каких вещей.

Мой тесть служил в Балыкесире. С его помощью я поступил на работу в торговую фирму в главном городе вилайета. Проработал я там много лет. Чем больше становилась семья, тем меньший интерес проявлял я к жизни. Силы мои убывали. После смерти тестя на моем попечении остались сестры и братья жены. Прокормить их всех на мои сорок лир не было возможности. Какой-то дальний родственник жены устроил меня в банк в Анкаре. Несмотря на свою беспомощность в делах, я все же рассчитывал продвинуться благодаря хорошему знанию языка. Но мои надежды не оправдались. Где бы я ни находился, я как будто не существовал для окружающих. Нельзя сказать, чтобы у меня не возникало искушения излить на других любовь, все еще переполнявшую мое сердце, начать жить заново. Однако я никак не мог избавиться от сомнения: «А стоит ли? Зачем? Чтобы опять быть обманутым? Чтобы вновь испытать разочарование?» Мария была единственным человеком, которому я верил. Верил так беззаветно, что обман убил во мне всякую веру. Нет, я не был на нее обижен. Обижаться, злиться или хотя бы подумать о ней что-нибудь дурное было не в моих силах. Но я был сломлен. И свое недоверие распространял на всех людей, потому что Мария как бы воплощала для меня все человечество. Убеждаясь в том, что даже спустя много лет она все еще живет в моем сердце, я впадал во все большее отчаяние. Должно быть, она давно меня забыла. С кем-то она проводит сейчас время?.. По вечерам в доме у нас

бывало очень шумно. Крики детей, возня жены на кухне, стук тарелок, перебранка родственников - все это сливалось в сплошную какофонию. Чтобы как-то отвлечься, я закрывал глаза и думал: где-то сейчас Мария? Может быть, прогуливается по ботаническому саду, среди диковинных деревьев, с каким-нибудь новым поклонником или же бродит по залам выставки и любуется при свете пробивающегося через стекла закатного солнца бессмертными творениями великих художников.

Как-то, возвращаясь вечером с работы, я забежал к бакалейщику. Когда я выходил из лавки, мой слух уловил звуки музыки, доносившейся из дома напротив. Я сразу узнал начало увертюры к веберовскому «Оберону». Я чуть было не выронил пакеты из рук. Ведь эту оперу мы слушали с Марией. Она любила Вебера и по дороге домой все время насвистывала мелодию из увертюры. И снова я ощутил острую тоску, как будто мы расстались только вчера. Со временем забывается горечь любой утраты. Не забывается только то, что упущено. Больно сознавать: «А ведь все могло быть иначе». Если бы не эта мысль, человек спокойно переносил бы все, что посылает ему судьба.

Я был не избалован вниманием домочадцев, да и не имел права на него рассчитывать. Чувство собственной ненужности, которое я впервые испытал в Берлине в тот памятный день Нового года, пустило глубокие корни. Зачем я им нужен, этим людям? Почему они меня терпят? Только потому, что я даю им какие-то жалкие гроши?! Но люди ведь нуждаются не столько в денежной помощи, сколько в любви и сочувствии. Если этого нет, то обязанности главы семьи сводятся к кормлению нескольких ртов. Мне хотелось, чтобы зависимость родственников от меня кончилась как можно быстрее. Постепенно моя жизнь превратилась в ожидание этого далекого дня. Я стал похож на заключенного, ожидающего истечения срока, назначенного ему в приговоре, встречал каждый новый день одной мыслью: приближает ли он меня к заветному рубежу или нет. Я жил бессознательно, как растение, ни на что не жалуясь. Без каких-либо желаний и стремлений… Малопомалу чувства мои как бы атрофировались. Я ни о чем не сожалел, ничему не радовался.

Так прошло много лет. И вот вчера, в субботу, произошел случай, всколыхнувший всю мою душу… Я вернулся с работы, разделся. Но тут вдруг ко мне подошла жена. «Завтра все магазины закрыты! Ты уж сходи, пожалуйста, купи, что надо», - попросила она. Я нехотя оделся и отправился на рынок. Было довольно жарко. По улицам прогуливалось множество людей в тщетной надежде отыскать прохладу. Закончив покупки, я влился в людской поток и с пакетами под мышкой медленно побрел назад. Возвра-

щаться домой обычным путем, по рытвинам и колдобинам, на этот раз мне не захотелось, и я решил сделать небольшой крюк по хорошей дороге. Стрелки на уличных часах показывали шесть. Вдруг какая-то женщина схватила меня за руку:

- Герр Раиф!

От неожиданности я вздрогнул и чуть было не бросился наутек. Но женщина держала меня очень крепко.

- Нет, нет, я не обозналась. Это вы, герр Раиф! Господи, как вы изменились! - кричала она на всю улицу.

Я медленно поднял глаза и, еще не видя ее лица, угадал по необъятно широкой фигуре, что это фрау Тидеманн. Да и голос ее ничуть не изменился.

- Это вы, фрау ван Тидеманн? - воскликнул я. - Вот уж никак не ожидал встретить вас в Анкаре!

- Вы ошибаетесь. Я уже не фрау ван Тидеманн - фрау Доппке!.. Ради мужа мне пришлось пожертвовать приставкой «ван», но думаю, что я оказалась не в проигрыше!

- Поздравляю! Значит…

- Да, да, ваше предположение верно!.. Вскоре после вашего отъезда мы тоже покинули пансион… Разумеется, вместе. Уехали в Прагу…

При этих последних словах сердце мое екнуло. Я был не в силах сопротивляться внезапно нахлынувшему потоку чувств, которые, казалось, навсегда угасли. Но что у нее спросить? Ей ведь ничего не известно о моих отношениях с Марией. Как она истолкует мой вопрос? Не полюбопытствует ли, откуда я знаком с Марией? И что она мне скажет! Не лучше ли оставаться в полном неведении? Прошло больше десяти лет, - к чему ворошить прошлое?

Мы все еще стояли посреди улицы, и я предложил:

- Зайдем куда-нибудь, посидим! У нас ведь есть о чем поговорить. До сих пор не могу поверить: вы - и вдруг в Анкаре.

- Посидеть, поговорить было бы неплохо, но я тут проездом, поезд отходит меньше чем через час… Как бы не опоздать… Знала бы, что вы живете в Анкаре, непременно разыскала бы вас. Мы приехали вчера ночью.

Только сейчас я заметил, что рядом с ней стоит бледная девочка лет восьми-девяти.

- Это ваша дочь? - спросил я с улыбкой.

- Нет… Родственница!.. Мой сын учится на юридическом факультете.

- Вы до сих пор советуете ему, какие читать книги?

Она поняла меня не сразу, потом, вспомнив, улыбнулась:

- Да, все еще приходится давать ему советы, но он уже к ним не прислушивается… Тогда он был совсем маленький… Лет двена-

дцати… Господи, как быстро бегут годы!.. Как быстро!..

- Но вы совсем не изменились!

- Представьте - и вы тоже!

Я вспомнил ее возглас при нашей встрече, но ничего не сказал.

Мы шли рядом. Я никак не решался спросить ее о Марии Пуд ер и болтал о всяких пустяках.

- Вы так и не сказали, как попали в Анкару…

- Сейчас объясню. Мы здесь только проездом. Мы проходили мимо открытого кафе, и я уговорил ее выпить лимонада.

- Мой муж сейчас в Багдаде… Вы же знаете, он торговец колониальными товарами, - снова заговорила она, присев на стул.

- Но Багдад, помнится мне, не немецкая колония!

- Знаю, дорогой… Но мой муж занимается торговлей тропическими товарами. В Багдаде он закупает хурму.

- И в Камеруне он закупал хурму?

Фрау Доппке посмотрела на меня осуждающе, и я понял, что допустил бестактность.

- Если это вас так интересует, напишите ему письмо. Торговля не женское дело.

- А сейчас куда вы едете?

- В Берлин… Соскучилась по родине… К тому же, - она кивнула головой в сторону бледной девочки, которая сидела с ней рядом, - надо отвезти ее домой… Она очень слабенькая, на зиму мы брали ее к себе.

- И часто вы ездите в Берлин?

- Два раза в год.

- Отсюда можно заключить, что дела у герра Доппке идут неплохо.

Она рассмеялась.

Я все не решался спросить о Марии. И не из природной робости, а из страха перед тем, что услышу. Казалось бы, не все ли равно? Все мои чувства давно умерли. Чего же я боюсь? Вполне вероятно, что и Мария нашла себе какого-нибудь Доппке. А может быть, она все еще не замужем, продолжает искать «мужчину, который ее поймет». И уж наверняка даже забыла мое лицо.

Впрочем, и я тоже не мог восстановить в памяти ее облик. Впервые за десять лет я спохватился, что у меня нет ее фотографии. Почему мы не обменялись фото перед расставанием? Потому, вероятно, что каждый из нас надеялся на скорую встречу и полагался на свою память! Стало быть, я не могу ясно вспомнить ее лицо, если впервые сожалею, что у меня нет ее портрета. А ведь в первые месяцы нашей разлуки я мог представить себе ее лицо до малейшей черточки… а потом… потом, когда я понял, что все кончено, я изо всех сил старался стереть самую память о ней, хотя

и знал, что этого мне не удастся сделать. Образ мадонны в меховом манто, пусть только в воображении, продолжал властвовать надо мной. И вот теперь, когда я был уверен, что воспоминания о прежних днях уже не взволнуют меня, ее лицо поблекло в моей памяти. А у меня нет даже ее фото.

Впрочем, что бы это изменило?

Фрау Доппке посмотрела на часы и поднялась. Я решил проводить ее до вокзала.

Она восторгалась Анкарой и Турцией:

- Такого предупредительного отношения к иностранцам я не встречала нигде - даже в Швейцарии, обязанной своим процветанием прежде всего туристам. Швейцарский народ смотрит на иностранцев как на грабителей, вторгшихся в их дом. А в Турции каждый старается чем может им услужить. Очень мне нравится Анкара!

Она болтала не умолкая. Девочка шла на пять - десять шагов впереди, притрагиваясь к каждому встречавшемуся по пути деревцу. Когда мы подошли к вокзалу, я наконец набрался решимости и как можно более равнодушным тоном спросил:

- У вас в Берлине много родственников?

- Нет, не очень. Я ведь родом из Праги, первый мой муж был голландцем. А почему вы этим заинтересовались?

- Однажды я познакомился с женщиной, которая сказала мне, что она ваша родственница...

- Где?

- В Берлине... Мы встретились на одной выставке. Она - художница.

- И что было потом? - спросила она,оживившись.

- Потом... Потом, - заколебался я. - Не помню... Мы с ней о чем-то говорили. Она выставила замечательный портрет.

- А вы не помните ее имени?

- Пудер... Мария Пудер!.. Ее подпись стояла под портретом... Да и в каталоге значилось ее имя.

Фрау Доппке молчала.

- Вы знаете ее? - спросил я.

- Да... А почему она вам сказала, что мы с ней родственницы?

- Я упомянул случайно, в каком пансионе живу, а она сказала, что у нее есть там родственница. Так, кажется, было. Точно не помню. Как-никак прошло десять лет.

- Да. Немало воды утекло. Ее мать рассказывала мне, что она дружила с каким-то турецким студентом. Вот я и подумала, уж не вы ли этот студент? Пока она была в Праге, турок уехал из Берлина. Так она его больше и не видела.

Мы незаметно дошли до вокзала. Фрау Допп-ке сразу же направилась к своему вагону. Я боялся, что она переменит тему и я так ничего и не сумею узнать. Поэтому я пристально на нее глядел, всем своим видом показывая, что жду продолжения разговора.

Проследив, чтобы посыльный из гостиницы уложил все принесенные вещи, фрау Доппке отослала его и повернулась ко мне:

- Почему вы хотите знать о Марии? Вы же говорите, что были мало с ней знакомы?

- Но она произвела на меня сильное впечатление… И ее портрет мне очень понравился…

- Она была хорошей художницей.

- Почему «была»? А теперь - нет? - спросил я с внезапной безотчетной тревогой.

Фрау Доппке осмотрелась, увидела, что девочка уже в вагоне, и негромко сказала:

- Конечно, нет… Ведь она умерла.

- Умерла! - простонал я. Люди, стоявшие на перроне, оглянулись, а девочка, высунув голову из открытого окна, смотрела на меня удивленными глазами.

И фрау Доппке внимательно поглядела на меня.

- Что с вами? - спросила она. - Почему вы так побледнели? Вы же говорили, что почти ее не знаете!

- Это так неожиданно!

- Но прошло столько времени… Лет десять… .

- Десять? Не может быть…

Фрау Доппке отвела меня в сторону и начала свой рассказ.

- Я вижу, смерть Марии вас потрясла. Я расскажу вам о ней подробнее. Через две недели после вашего отъезда мы с герром Доппке отправились к нашим родственникам под Прагу. Там мы встретились с Марией и ее матерью, с которой у меня, признаться, были не очень хорошие отношения. Но на этот раз мы не ссорились. Мария выглядела неважно. Была бледной, худой. Она говорила, что перенесла тяжелую болезнь. Через некоторое время Мария немного оправилась, и они вернулись в Берлин. Мы тоже вскоре уехали в Восточную Пруссию, мой муж оттуда родом… Зимой, возвратившись в Берлин, мы узнали, что Мария умерла в начале октября. Услышав об этом, я тотчас же разыскала ее мать. От пережитого горя она так постарела, что выглядела шестидесятилетней старухой, а ведь ей было тогда не больше сорока шести. От нее я узнала, что после возвращения из Праги Мария чувствовала себя не очень хорошо. Выяснилось, что она в положении. Мария была очень обрадована, но почему-то не захотела сказать матери, кто отец ребенка. На все расспросы у нее был один ответ: «Потом узнаешь!» Она говорила, что должна скоро уехать, и уже

готовилась к отъезду. Однако ей становилось все хуже и хуже. Врачи опасались за ее жизнь и настоятельно советовали сделать аборт. Но Мария не соглашалась. Когда ей стало совсем плохо, ее положили в больницу. У нее обнаружилась альбуминурия. Так, кажется, называется эта болезнь. К тому же она была очень слаба после перенесенной незадолго до того болезни… Перед родами она несколько раз теряла сознание. Пришлось прибегнуть к операционному вмешательству. Ребенка удалось спасти. Однако Мария истекла кровью и умерла. До самого конца она не верила, что может умереть. Перед тем, как окончательно потерять сознание, она сказала матери: «Узнаешь, кто он, - удивишься, но потом будешь довольна». Однако имя отца ребенка она не успела назвать. Еще до отъезда в Прагу Мария часто говорила матери о каком-то молодом турке. Но мать никогда его не видела. Лет до четырех дочь Марии находилась в больницах и диспансерах, а потом ее забрала к себе бабушка. Девочка слабенькая, болезненная, но очень симпатичная, не правда ли?

Ноги мои подкосила неожиданная слабость. Голова пошла кругом. Но я все-таки сумел даже изобразить нечто вроде улыбки.

- Вот эта девочка? - спросил я, показывая на окно вагона.

- Да… Прелестная девочка. Очень милая и послушная. Бедняжка, наверное, соскучилась по бабушке, - ответила фрау Доппке, глядя на меня недоброжелательным, почти враждебным взглядом.

Послышался сигнал отправления. Фрау Доппке вошла в вагон. Через несколько мгновений она уже появилась в окне рядом с девочкой, которая с равнодушной улыбкой смотрела на вокзал, а иногда и на меня.

Поезд тронулся. Я помахал им рукой. Фрау Доппке ответила мне ехидной улыбкой. Девочка отошла от окна…

Все это произошло вчера вечером. С тех пор прошло немногим более суток.

Всю ночь я не мог уснуть. Лежа на спине, беспрерывно думал о девочке, которую увез поезд. Перед моими глазами неотступно маячила ее голова, маленькая головка с развевающимися волосами… Я не заметил ни цвета ее глаз, ни - волос, не узнал ее имени. Она стояла совсем рядом, в двух шагах от меня, а я ни разу не удосужился на нее внимательно взглянуть. Даже не пожал ей на прощанье руку. Господи, я решительно ничего не знаю о собственной дочери! Фрау Доппке, разумеется, обо всем догадалась! Почему она глядела на меня так враждебно? Почему поспешила увести девочку? Трудно сказать… Теперь они в пути… Девочка, видимо, спит, и ее головка слегка покачивается под мерный стук колес.

Я все время думал о них. Но в конце концов силы мои иссякли, и тогда немедленно передо мной появился тот образ, который я так долго пытался изжить из своей памяти. Мария, моя мадонна, глядела на меня своими бездонно глубокими глазами. На ее лице не было ни тени укора. Только легкое удивление, нежность и сострадание. Я не мог выдержать этого взгляда. Десять лет, целых десять лет таил я в душе обиду на Марию, уже мертвую. Я даже осмеливался обвинять ее в измене! Вряд ли можно было нанести худшее оскорбление ее памяти. Десять лет я без всяких оснований сомневался в той, что дала цель и смысл моей жизни, и ни разу, предаваясь самым невероятным подозрениям, не подумал: а нет ли какой-нибудь веской причины для ее молчания? А ведь причина оказалась самая непререкаемая - смерть. Меня терзало запоздалое раскаяние. Я ясно сознавал, что до конца дней моих мне не искупить оскорбления, нанесенного ее памяти. Даже на коленях не замолить совершенного мной тягостного греха, ибо из всех грехов самый непростительный - подозревать в измене любящее сердце.

Совсем недавно я думал, что без фото не смогу. вспомнить ее облика. И вдруг я увидел ее с небывалой ясностью. Она стояла передо мной такая же грустная и горделивая, как на своем портрете. Лицо еще бледнее, глаза еще темнее, чем при жизни. Нижняя губа чуть выпячена, как будто она хочет сказать: «Ах, Раиф!» Неужели она умерла десять лет назад? Умерла в то самое время, когда я ждал ее, готовил для нее дом. Умерла, не сказав никому ни слова. Унесла свою тайну в могилу, даже смертью своей стараясь избавить меня от тягостных забот.

Только теперь я понял, почему обида на нее заставляла меня отгораживаться высокой стеной от всех окружающих. Все эти десять лет я любил ее неубывающей любовью. И не хотел впускать в свое сердце никого другого. Я любил ее даже больше, чем прежде. Я тянул руки к мадонне, хотел согреть ее ладони в своих. Заново переживая те несколько месяцев, что мы провели вместе, вспоминал каждый жест, каждое сказанное слово. Вот мы на выставке, вот разговариваем в «Атлантике», вот гуляем по ботаническому саду, а вот сидим друг против друга у окна. Этих воспоминаний могло бы хватить на целую человеческую жизнь, - а то, что они были ограничены коротким промежутком времени, делало их еще более живыми и волнующими. Я понял с необыкновенной ясностью, что все эти десять лет я не жил. Мои чувства, мысли и поступки, казалось, принадлежали какому-то другому, чужому человеку. Вчера вечером, когда, лежа в постели, я увидел перед собой Марию, я почувствовал, что жить отныне мне будет еще труднее. От меня осталась только жалкая телесная оболочка,

только тень прошлого «я». С тех пор как Мария покинула меня, моя жизнь утратила всякую реальную сущность, я умер вместе с ней, а может быть, и прежде нее.

Сегодня утром мои домашние отправились на прогулку. Сославшись на нездоровье, я остался дома. И весь день пишу. Уже вечереет, а они все еще не вернулись. Но через какой-нибудь час-другой они с шумом и гамом ввалятся в дом. Что у меня общего с ними? Между нами нет духовной близости. За долгие годы я не сказал им ни слова. А ведь мне так хочется поделиться с кем-нибудь своей тайной. Хоронить ее в своей душе - разве не то же, что быть заживо погребенным? Ах, Мария, почему мы не можем сесть с тобой у окна .и поговорить обо всем, обо всем? Почему мы не можем побродить, как в те ветреные осенние вечера, ведя безмолвный разговор? Почему тебя нет рядом со мной?

Все эти десять лет я, вероятно, напрасно чурался людей, упорствовал в своем недоверии к ним. Может быть, я и сумел бы найти человека, столь же благородного, как ты. Если бы я знал о твоей смерти десять лет назад, может быть, я смирился бы с утратой и постарался бы найти тебя в других. Но теперь для меня все кончено. После того, как я нанес твоей памяти непростительное оскорбление, у меня уже нет желания поправить что-либо в своей жизни. Основываясь на приговоре, который посмел вынести тебе, я осудил всех людей. Сегодня, осознав свою неправоту, я вынужден сам себя приговорить к одиночеству. Жизнь - картежная игра. Каждому дано сыграть лишь одну партию. Я проиграл и больше никогда не возьмусь за карты. Вечерами, как робот, буду ходить за покупками. Буду встречаться с людьми, не вызывающими во мне никакого интереса. Я жил и мог бы жить точно так же, ни о чем не задумываясь. Это ты открыла мне глаза на то, что существует другая жизнь, что во мне таится свой собственный духовный мир. И если ты не сумела преобразить меня, то это не твоя вина. Благодарю тебя за те несколько месяцев настоящей жизни, которые ты мне подарила. Несколько таких месяцев стоят целого века… Нашей дочери, частице твоей плоти, суждено жить, не зная, что у нее есть отец, вдалеке от него. Наши дороги пересеклись всего лишь один раз. Я не знаю о ней ничего - ни имени, ни адреса. Но мое воображение будет неотступно следовать за ней. Я пойду рядом с ней, пусть только в мечтах, и постараюсь заполнить пустоту моей жизни, представляя себе, как она подрастает, как улыбается и как грустит… За дверью послышался шум. Кажется, вернулись мои. А мне все еще хочется писать. Для чего - сам не знаю. Я уже столько написал, не хватит ли? Придется завтра купить дочке новую тетрадь, а эту спрятать подальше. Спрятать так, чтобы никто не смог ее обнаружить, чтобы никто

не смог узнать, что у меня на душе…

На этом записки Раифа-эфенди обрывались. На оставшихся страницах не было ни одной записи, ни одной пометки.

Казалось, будто, он выплеснул все, что таилось в его душе, на страницы этой тетради, чтобы замкнуться в себе на долгие годы.

За окнами светало. Помня свое слово, я: сунул тетрадь в карман и поспешил к больному. Едва войдя в дверь, л услышал громкие причитания, плач и остановился'в нерешительности. Мне не хотелось уходить, не бросив последний взгляд на Раифа-эфенди. Но я чувствовал, что не в силах видеть недвижное тело человека, с которым вместе пережил его жизнь. Поразмыслив, я тихо вышел на улицу. Я не скорбел о его смерти. Более того, у меня было такое чувство, словно я не утратил, а только сейчас обрел его.

Вчера вечером он сказал мне: «Так мы с тобой и не поговорили!» Нет, я не могу с ним согласиться. Наш разговор длился всю ночь.

Покинув этот мир, он вошел в мою жизнь как живой человек, и отныне я всегда буду ощущать его рядом.

Придя на работу, я сел за освободившийся стол Раифа-эфенди и, положив перед собой тетрадь, начал читать ее заново.